

БОЛЬШОЙ ДЖОРДЖ ОРУЭЛЛ

ВПЕРВЫЕ ПОЛНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ПОСЕВА, ГРАНЕЙ, ДИ-ПИ



1984
СКОТНЫЙ ДВОР
ПАМЯТИ КАТАЛОНИИ

КОЛЛЕКЦИОННОЕ
ИЛЛЮСТРИРОВАННОЕ
ИЗДАНИЕ

Подарочные издания. Иллюстрированная классика

Джордж Оруэлл

**Большой Джордж Оруэлл: 1984.
Скотный двор. Памяти Каталонии**

«Алисторус»

1939,1945,1949

УДК 82-31
ББК 83.3

Оруэлл Д.

Большой Джорж Оруэлл: 1984. Скотный двор. Памяти Каталонии / Д. Оруэлл — «Алисторус», 1939,1945,1949 — (Подарочные издания. Иллюстрированная классика)

ISBN 978-5-907363-24-3

Повесть «Памяти Каталонии» Джордж Оруэлл опубликовал в 1939 году. В ней он рассказал о намерениях русских захватить власть в Испании. В 1945 он написал сатиру на русскую революцию – притчу «Скотный двор», а его последней книгой стал роман «1984», антиутопия, в которой со страхом и гневом показано тоталитарное общество. Писатель мечтал о том, что однажды его книги попадут в Россию и откроют людям глаза. При жизни автора этому не суждено было случиться. Лишь спустя десятилетия рукописи стали переводить, перепечатывать и передавать из рук в руки. Выпущенные самиздатом тексты поражали, пугали и вдохновляли. Спустя много лет тексты Оруэлла будут в каждом книжном магазине, а первые, отпечатанные на пишущей машинке, переводы станут библиографической редкостью. Именно они и составили этот сборник. Читайте осторожно. Помните, Большой брат всегда следит за вами. В формате PDF А4 сохранен издательский макет книги.

УДК 82-31

ББК 83.3

ISBN 978-5-907363-24-3

© Оруэлл Д., 1939,1945,1949

© Алисторус, 1939,1945,1949

Содержание

Биографическая справка	6
1984	7
Часть первая	7
I	7
II	19
III	23
IV	28
V	34
VI	42
VII	46
VIII	52
Часть вторая	66
I	66
II	71
III	77
IV	84
V	89
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Большой Джордж Оруэлл
1984
Скотный двор
Памяти Каталонии

© Перевод М. Кригер, Г. Струве, Н. Андреев, Н. Витов, 2021

© ООО «Агентство Алгоритм», оформление, издание, 2021

Биографическая справка

Джордж Оруэлл (1903–1950), английский писатель. Оруэлл – псевдоним Эрика Блэйра (Erik Blair) – родился 25 июня 1903, в Матихари (Бенгалия). Его отец, британский колониальный служащий, занимал незначительный пост в индийском таможенном управлении. Оруэлл обучался в школе св. Киприана, в 1917 получил именную стипендию и до 1921 посещал Итонский колледж. В 1922–1927 служил в колониальной полиции в Бирме. В 1927, вернувшись домой в отпуск, решил подать в отставку и заняться писательством.

Ранние – и не только документальные – книги Оруэлла в значительной мере автобиографичны. Побывав судомоем в Париже и сборщиком хмеля в Кенте, побродив по английским селам, Оруэлл получает материал для своей первой книги Собачья жизнь в Париже и Лондоне (*Down and Out in Paris and London*, 1933). Дни в Бирме (*Burmese Days*, 1934) в значительной степени отобразили восточный период его жизни. Подобно автору, герой книги Пусть цветет аспидистра (*Keep the Aspidistra Flying*, 1936) работает помощником букиниста, а героиня романа Дочь священника (*A Clergyman's Daughter*, 1935) преподает в захудалых частных школах. В 1936 Клуб левой книги отправил Оруэлла на север Англии изучить жизнь безработных в рабочих кварталах. Непосредственным результатом этой поездки стала гневная документальная книга Дорога на Уиган-Пирс (*The Road to Wigan Pier*, 1937), где Оруэлл, к неудовольствию своих нанимателей, критиковал английский социализм. Кроме того, в этой поездке он приобрел стойкий интерес к произведениям массовой культуры, что нашло отражение в его ставших классическими эссе Искусство Дональда Макгила (*The Art of Donald McGill*) и Еженедельники для мальчиков (*Boys Weeklies*).

Гражданская война, разразившаяся в Испании, вызвала второй кризис в жизни Оруэлла. Всегда действовавший в соответствии со своими убеждениями, Оруэлл отправился в Испанию как журналист, но сразу по прибытии в Барселону присоединился к партизанскому отряду марксистской рабочей партии ПОУМ, воевал на Арагонском и Теруэльском фронтах, был тяжело ранен. В мае 1937 он принял участие в сражении за Барселону на стороне ПОУМ и анархистов против коммунистов. Преследуемый тайной полицией коммунистического правительства, Оруэлл бежал из Испании. В своем повествовании об окопах гражданской войны – Памяти Каталонии (*Homage to Catalonia*, 1939) – он обнажает намерения сталинистов захватить власть в Испании. Испанские впечатления не отпускали Оруэлла на протяжении всей жизни. В последнем предвоенном романе «За глотком свежего воздуха» (*Coming Up for Air*, 1940) он обличает размывание ценностей и норм в современном мире.

Оруэлл считал, что настоящая проза должна быть «прозрачна, как стекло», и сам писал чрезвычайно ясно. Образцы того, что он считал главными достоинствами прозы, можно видеть в его эссе «Убийство слона» (*Shooting an Elephant*; рус. перевод 1989) и в особенности в эссе «Политика и английский язык» (*Politics and the English Language*), где он утверждает, что бесчестность в политике и языковая неряшливость неразрывно связаны. Свой писательский долг Оруэлл видел в том, чтобы отстаивать идеалы либерального социализма и бороться с тоталитарными тенденциями, угрожавшими эпохе. В 1945 он написал прославивший его «Скотный двор» (*Animal Farm*) – сатиру на русскую революцию и крушение порожденных ею надежд, в форме притчи рассказывающую о том, как на одной ферме стали хозяйничать животные. Его последней книгой был роман 1984 (1984), антиутопия, в которой Оруэлл со страхом и гневом рисует тоталитарное общество. Умер Оруэлл в Лондоне 21 января 1950.

1984

Последней книгой Джорджа Оруэлла был роман «1984» (Nineteen Eighty-Four, 1949), антиутопия, в которой Оруэлл со страхом и гневом рисует тоталитарное общество.

На русский язык книгу перевели значительно позже. Первое конспиративное издание появилось в 1960-х, краткие выходные данные не соответствовали действительности. Переводчики не были указаны. В издании отсутствовал «Словаря новояза».

Это конспиративное издание без выходных данных, выпущено специальной конторой под названием «ALI». Организацию курировало ЦРУ. Она существовала в конце 1960-х – середине 1970-х годов и базировалась в Риме. Книги, которые она издавала, выходили или под откровенно фальшивыми выходными данными.

Отпечатано первое издание «1984» было в типографии Litostampa Nomentana.

В 1986 году в интервью, приуроченном к 40-летию основания «толстого» литературно-партийного журнала «Грани» и опубликованном в том же журнале, главный литературный энтэсовец Евгений Романов (Островский; 1914–2001) вспоминал:

«На издание “1984” книгой мы получили большую субсидию от вдовы Оруэлла, согласно его предсмертному пожеланию. Труднейший перевод <...> был сделан безвозмездно ныне покойным<и> профессором Н.Е. Андреевым (Кембридж) и Н.С. Витовым (Монтерей)»¹.

Именно с этого конспиративного перевода началось знакомство русского читателя с творчеством Оруэлла. Именно оно и публикуется в данном издании.

*Мой роман не направлен против социализма или британской лейбористской партии (я за неё голосую), но против тех извращений централизованной экономики, которым она подвержена и которые уже частично реализованы в коммунизме и фашизме. Я не убеждён, что общество такого рода обязательно должно возникнуть, но я убеждён (учитывая, разумеется, что моя книга – сатира), что нечто в этом роде может быть. Я убеждён также, что тоталитарная идея живёт в сознании интеллектуалов везде, и я попытался проследить эту идею до логического конца. Действие книги я поместил в Англию, чтобы подчеркнуть, что англоязычные нации ничем не лучше других и что тоталитаризм, если с ним не бороться, может победить повсюду.
Джордж Оруэлл. 1949 г.*

Часть первая

I

Был ясный холодный апрельский день, и часы пробили тринадцать. Пригнув подбородок к груди, чтобы укрыться от отвратительного ветра, Уинстон Смит быстро проскользнул в стеклянные двери Особняка Победы, не успев, однако, помешать вихрю песчаной пыли ворваться следом.

В коридоре пахло вареной капустой и старыми половиками. В конце коридора висел разноцветный плакат, казавшийся слишком большим для того, чтобы вывешивать его в помещении. Он изображал громадное – более метра в ширину – лицо мужчины лет сорока пяти с

¹ Интервью с основателем журнала Евгением Романовым // Грани (Франкфурт-на-Майне). 1986. № 141. Цит. по: Свободное слово «Посева»: 1945–1995. – М.: Посев, 1995. С. 69.

густыми черными усами и с грубо-красивыми чертами. Уинстон стал взбираться по лестнице. Нечего было и думать о лифте. Даже и в лучшие времена он редко работал, а теперь электрический ток днем вообще не подавался. Это было частью режима экономии, которым отмечалась подготовка к Неделе Ненависти. До квартиры надо было пройти семь пролетов лестницы, и Уинстон, в свои тридцать девять лет и со своей варикозной язвой над правой лодыжкой, поднимался медленно, несколько раз отдыхая по пути. На каждой площадке против шахты лифта пристально смотрело с плаката громадное лицо. Это был один из тех портретов, на которых глаза посажены как-то так ловко, что следуют за вами, куда бы вы ни двинулись. «*Старший Брат охраняет тебя*» – гласила надпись под портретом.

В квартире мелодичный голос читал перечень цифр, имевших какое-то отношение к выплавке чугуна. Голос исходил из металлического овального диска, похожего на тусклое зеркало, вделанное в стену направо от входа. Уинстон повернул выключатель, и голос понизился, хотя слова все еще можно было разобрать. Аппарат (называвшийся телескрином) можно было только притушить, но не выключить совсем. Уинстон подошел к окну. Синий комбинезон члена Партии лишь подчеркивал его невысокий рост, хрупкое телосложение и худобу. У него были очень светлые волосы и лицо сангвиника, кожа его загорела от скверного мыла, от тупых бритвенных лезвий и от зимней стужи, которая только что успела кончиться.



Мадрид, пьяный мужчина

Даже сквозь закрытые окна мир снаружи выглядел неприятно-холодным. На улице порывы ветра закручивали в воронки пыль и клочки бумаги, и, хотя сияло солнце и небо было ярко-голубым, все казалось каким-то бесцветным, кроме наклеенных везде плакатов. Лицо с черными усами пристально смотрело с каждого важного перекрестка. Один из плакатов висел

на фасаде дома прямо напротив. «*Старший Брат охраняет тебя*» – говорила надпись, в то время, как темные глаза глубоко смотрели на Уинстона. Ниже, на уровне улицы, другой плакат с порванным углом судорожно полоскался на ветру, то открывая, то закрывая единственное написанное на нем слово: АНГСОЦ. Вдали, между крышами, плавно скользнул вниз геликоптер, повис на мгновение в воздухе, словно синяя мясная муха, и опять устремился дальше в кривом полете. Это полицейский патруль подглядывал в чужие окна. Но патрули – это пустяк. Иное дело – Полиция Мысли...

За спиной Уинстона телескрин все еще что-то бормотал насчет производства чугуна и перевыполнения плана Девятой Трехлетки. Телескрин соединял в себе приемник и передатчик. Он улавливал любой звук, едва превышавший самый осторожный шопот; больше того, – пока Уинстон находился в поле зрения металлического диска, его могли так же хорошо видеть, как и слышать. Нельзя было, конечно, знать, следят за вами в данную минуту или нет. Можно было только строить разные догадки насчет того, насколько часто и какую сеть индивидуальных аппаратов включает Полиция Мысли. Возможно даже, что за каждым наблюдали постоянно. И во всяком случае, ваш аппарат мог быть включен когда угодно. Приходилось жить, и, по привычке, превратившейся в инстинкт, люди жили, предполагая, что каждый производимый ими звук – подслушивается, и любое их движение, если его не скрывает темнота, – пристально наблюдается.

Уинстон стоял спиной к телескрину. Так было безопаснее, хотя, как он отлично знал, даже и спина могла вас выдать. На расстоянии километра высилось над окружающим тусклым ландшафтом громадное белое здание Министерства Правды – место его работы. Это Лондон, – думал Уинстон со смутным отвращением, – Лондон, главный город Первой Посадочной Полосы, которая сама является третьей по числу жителей областью Океании. Он старался выдать из памяти хоть несколько воспоминаний, которые могли бы подсказать ему, всегда ли Лондон был таким, каков он сейчас. Всегда ли были эти нескончаемые вереницы неопрятных домов девятнадцатого века, подпертые балками по сторонам, с залатанными картоном окнами, с крышами из гофрированного железа и с этими дурацкими садовыми оградами, покосившимися во все стороны? А разрушенные бомбами кварталы, где кружится в воздухе известка, и ивняк вьется по грудам развалин? А громадные, оставшиеся от бомбардировок пустыри, на которых выросли грязные колонии деревянных лачуг, похожих на курятники? Но, увы, – он не мог припомнить ничего: от детства сохранилось лишь несколько ярко освещенных картин, возникавших безо всякого фона и в большинстве случаев непонятных.

Министерство Правды – Минправ на Новоречи² – поразительно отличалось от всего, что открывалось в этот миг взору Уинстона. Это было грандиозное пирамидальное строение из сверкающего белого бетона, терраса за террасой устремлявшееся ввысь на триста метров. Оттуда, где стоял Уинстон, можно было прочесть три лозунга Партии, высеченные изящными буквами на белом фоне здания:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО СИЛА

Рассказывали, что Министерство Правды насчитывает три тысячи комнат над землей и столько же под нею. В разных концах Лондона имелось лишь еще три здания такого же вида и размера. Они так подавляли окружающие их строения, что с крыши Особняка Победы можно было видеть все четыре одновременно. Это были здания четырех министерств, между которыми делился весь аппарат государственного управления: Министерство Правды, занимавшееся информацией, увеселениями, образованием и изящными искусствами; Министер-

² Новоречь – официальный язык Океании. – Прим. авт.

ство Мира, ведавшее делами войны; Министерство Любви, охранявшее порядок и законы и Министерство Изобилия, ответственное за экономические дела. На Новоречи они назывались: Минправ, Минмир, Минлюб и Минизобилие.

Самым устрашающим из всех было Министерство Любви. В здании, которое оно занимало, не было ни одного окна. Уинстон не только не бывал ни разу в этом Министерстве, но и никогда не подходил к нему на расстояние меньше полукилометра. Туда вообще можно было войти только по служебному делу, и тот, кто шел по делу, попадал в здание сквозь лабиринт колючей проволоки, через стальные двери, мимо скрытых пулеметных гнезд. Даже по улицам, ведущим к его внешним укреплениям, бродили охранники с мордами горилл, одетые в черную форму и вооруженные дубинками.

Уинстон круто повернулся. Он придал своим чертам выражение спокойного оптимизма, которое рекомендовалось принимать, обращаясь лицом к телескрину. Затем он направился в крохотную кухоньку. Уйдя в это время дня из Министерства, он лишился обеда в буфете, хотя и знал отлично, что дома ничего нет, кроме куска черного хлеба, который следовало сохранить на завтрак. Он взял с полки бутылку бесцветной жидкости с простой белой этикеткой, на которой значилось: «Джин Победа». От жидкости тошнотворно отдавало сивухой, как от рисовой китайской водки. Уинстон налил почти полную чашку и, набравшись мужества, одним духом выпил, словно порцию лекарства.

Его лицо мгновенно побагровело, и из глаз покатались слезы. Жидкость походила вкусом на азотную кислоту, и человек, глотнувший ее, чувствовал себя так, будто его стукнули резиновой дубинкой по затылку. Однако, в следующую минуту жжение в желудке прекратилось, и мир повеселел. Из помятой пачки с надписью – «Сигареты Победа» – Уинстон вынул папиросу и неосторожно повернул ее концом вниз, отчего табак тотчас же высыпался на пол. Со второй ему повезло больше. Он вернулся в гостиную и уселся за маленький столик, налево от телескрина. Затем он вытащил из ящика ручку, бутылку чернил и объемистую тетрадь с красным корешком и обложкой под мрамор.

В этой комнате телескрин занимал почему-то необычное положение. Вместо того, чтобы висеть, как полагалось, против двери, откуда была видна вся комната, он был вделан в длинную стену против окон. В той же стене, сбоку от телескрина, имелась неглубокая ниша, где сейчас сидел Уинстон и где, по мысли строителей дома, должны были, по-видимому, находиться книжные полки. Сидя в этой нише и откинувшись как можно дальше назад, Уинстон был незрим для телескрина. Пока он оставался в положении, какое занимал теперь, его могли лишь слышать, но не видеть. Эта необычная «география» комнаты отчасти и подсказала ему мысль – заняться тем, что он сейчас собрался делать.

Впрочем, к этому же побуждала его и тетрадь, которую он только что достал из ящика. На редкость красивая тетрадь! Такой гладкой кремовой бумаги, хотя и успевшей слегка пожелтеть от времени, не делали по крайней мере уже сорок лет. Уинстон мог предполагать, однако, что этой тетрадке даже больше сорока лет. Он увидел ее в окне грязной лавки старьевщика где-то в городских трущобах (квартала он теперь уже не помнил), и его сразу охватило страстное желание приобрести ее. Членам Партии не разрешалось заходить в обычные магазины («имеющие дело со свободным рынком», как их называли), но это правило не слишком строго соблюдалось, потому что некоторых вещей, вроде шнурков для ботинок или лезвий для бритв, нельзя было достать иным путем. Он окинул быстрым взглядом улицу и, проскользнув в лавку, купил тетрадь за два доллара пятьдесят. В то время он не думал, что она понадобится ему для какой-нибудь определенной цели. Чувствуя себя виновным, он принес ее домой в портфеле. Даже не имея на своих страницах ни одной пометки, она была компрометирующей собственностью.

Теперь он собирался начать дневник. Это не было запрещено законом (ничто не запрещалось с того времени, как были упразднены законы), но если бы его уличили, ему пришлось бы, вероятно, поплатиться жизнью или, в лучшем случае, двадцатью пятью годами concentra-

ционных лагерей. Уинстон вставил перо в ручку и пососал его, чтобы снять масло. Перо тоже было устаревшей вещью, которая редко употреблялась даже и для подписи, и он раздобыл его украдкой и не без труда, просто потому, что чувствовал, что красивая кремовая бумага заслуживает того, чтобы на ней писали настоящим пером, а не царапали ее химическим карандашом. Вообще, он не привык писать от руки. За исключением самых небольших заметок, обычно все записывалось диктографом, но для настоящей цели он, разумеется, не подходил. Уинстон обмакнул перо и на мгновение в нерешимости остановился. По его телу пробежала дрожь. Сделать первую пометку на бумаге – значит сделать решающий шаг. Мелкими и неуклюжими буквами он вывел:

4-е апреля, 1984.

Он откинулся назад. Чувство полной беспомощности овладело им. Прежде всего, он не мог сказать определенно, что сейчас идет 1984-ый год. Возможно так и есть: он был более или менее уверен, что ему 39 лет и что он родился в 1944-ом или 1945-ом году, но вообще в теперешние времена нельзя установить какую-либо дату, не рискуя ошибиться на год или на два.

Вдруг он с удивлением подумал – для кого, собственно, собирается вести этот дневник? Для будущего? Для неродившихся? Его мысль с минуту покружилась над сомнительной датой, которую он написал, а затем уперлась в слово Новоречи – *двоемыслие*. Впервые перед ним предстала вся необъятность его замысла. Как можно установить связь с будущим? По самой природе будущего это невозможно. Если оно станет походить на настоящее, – оно не пожелает его слушать; если же между ним и настоящим будет какая-нибудь разница, – его затея потеряет смысл.

Некоторое время он сидел, тупо глядя на бумагу. Телескрин начал передавать какую-то скрипучую военную музыку. Странно, что он не только потерял способность выразить себя, но даже забыл, что именно хотел сказать вначале. Неделями он готовился к этой минуте, и ему ни разу не пришла в голову мысль, что понадобится еще что-то, кроме смелости. Ведь самый процесс писания будет нетруден. Все, что он должен сделать – это занести на бумагу томительно долгий беспокойный монолог, пробежавший в его сознании буквально годы. Но сейчас и он вдруг оборвался. Вдобавок его варикозная язва начала невыносимо зудеть. Он не решался почесать ее, чтобы она не воспалилась. Секунды бежали. Он не ощущал ничего, кроме белизны лежавшей перед ним бумаги, зуда кожи над лодыжкой, грома музыки и легкого опьянения, вызванного джином.

Вдруг, в какой-то полной панике, он начал писать, едва сознавая то, что заносит на бумагу. Опуская сначала прописные буквы, а затем даже и точки, он писал мелким, но детским почерком, который расползался по странице вверх и вниз:

4-е апреля, 1984. Вчера вечером в кино. Все фильмы военные. Один очень хороший об одном пароходе полном беженцев, который бомбят где-то в Средиземном. Публика потешалась над кадрами, изображавшими огромного толстого человека, который старался уплыть от вертолета, сначала вы видели как он словно дельфин барахтался в воде, потом его показывали с вертолета через прицел пулемета, потом его всего изрешетили и море вокруг стало розовым и он пошел ко дну так быстро словно все дыры наполнились водой, публика надрылась со смеху когда он тонул, затем показывали полную детей спасательную шлюпку и повисший над нею вертолет, на носу сидела женщина средних лет кажется еврейка и держала на руках мальчика лет трех, мальчик пронзительно кричал от страха и прятал голову у нее между грудей словно хотел зарыться в ней а она все обнимала его и успокаивала хотя сама посинела от ужаса, все

время закрывала и закрывала его сколько могла как будто ее руки могли защитить его от пуль, потом вертолет бросил бомбу в 20 килограмм, лодка вспыхнула и разлетелась в щепки, тут были восхитительные кадры – рука ребенка которая поднималась все выше, выше и выше вертолет с камерой на носу должен был следовать за ней и на местах для членов партии сильно захлопали но какая-то женщина внизу на пролетарских местах вдруг принялась шуметь и закричала чтобы этого не показывали ребятам они не показывали это неправильно не для ребят это неправильно пока полиция не вышвырнула ее вон Я полагаю с ней не случилось ничего никто не считается с тем что говорят пролы обычная пролетарская реакция они никогда не...

Уинстон остановился отчасти потому, что его свела судорога. Он не понимал, что заставило его излить этот поток чепухи. Но любопытно, что пока он ею занимался, в его уме пробудилось воспоминание иного рода и притом настолько ясное, что он чувствовал себя почти способным записать его. Он сознавал теперь, что его внезапное решение пойти домой и сегодня же начать дневник было вызвано совсем другим событием.

Это случилось, – если о такой туманной вещи вообще можно сказать, что она «случилась», – утром в Министерстве.

Было около одиннадцати ноль-ноль, и служащие Отдела Документации, где работал Уинстон, занимались тем, что перетаскивали стулья из кабинок в зал и расставляли их посередине, против большого телескрин, готовясь к Двум Ми-нутам Ненависти. Уинстон как раз садился на свое место в одном из средних рядов, когда в комнату неожиданно вошли два человека, которых он знал только в лицо. Одним из них была девушка, с которой он часто встречался в коридорах. Он не знал, как ее звать, но ему было известно, что она работает в Отделе Беллетристики. Судя по тому, что он видел ее иногда с замазанными руками и с гаечным ключом, можно было думать, что она занимается какой-то технической работой на автоматическом писателе. Это была девушка лет двадцати семи, смелого вида, с густыми черными волосами, с веснушчатым лицом и с быстрыми движениями спортсменки. Ее комбинезон был перехвачен узким алым кушаком, – эмблемой Антиполовой Лиги Молодежи, – обвитым несколько раз вокруг талии так, чтобы подчеркнуть красивую форму ее бедер. Уинстон невзлюбил ее с первого взгляда. И он знал, почему. Потому, что ее окружала атмосфера хоккейного поля и холодного купанья, массовых экскурсий и нравственной чистоты вообще. Он не любил почти всех женщин и, в особенности, молодых и привлекательных. Женщины, и прежде всего молодые, были самыми нетерпимыми, самыми падкими на лозунги, сторонницами Партии, шпионками-любительницами и ищейками, всюду вынюхивавшими уклон. Эта же девушка казалась ему даже более опасной, чем большинство других. Однажды, встретившись с ним в коридоре, она быстро покосилась на него таким взглядом, который, казалось, пронзил его насквозь и на минуту преисполнил темным ужасом. Он даже подумал, что она может оказаться агентом Полиции Мысли. Но это было маловероятно. Тем не менее, он продолжал испытывать странную тревогу, смешанную со страхом, и вместе с тем враждебность всякий раз, когда видел ее где-нибудь возле себя.

Другим человеком был некто О'Брайен, член Внутренней Партии, занимавший такой важный и высокий пост, что Уинстон имел о нем лишь смутное понятие. В зале моментально воцарилась тишина, как только люди заметили приближающийся к ним черный комбинезон члена Внутренней Партии. О'Брайен был большим и грузным человеком с толстой шеей, с грубым и жестоким, но вместе с тем, комическим лицом. Несмотря на грозную наружность, в его манерах чувствовалось известное обаяние. У него была занятая и обезоруживающая привычка каким-то непередаваемым, но по-своему культурным жестом поправлять «очки на носу». Этот жест напоминал (если только кто-нибудь все еще мыслил подобными понятиями) дворянина восемнадцатого века, предлагающего табакерку. Уинстон встречал О'Брайена быть

может раз двенадцать за столько же лет. Он испытывал глубокое влечение к этому человеку и не только потому, что его занимал контраст между изысканными манерами О'Брайена и его боксерской наружностью. Главным образом, это влечение проистекало из тайного убеждения или даже просто из надежды, что политическая правота О'Брайена неоспорима. Что-то в его лице несомненно подсказывало эту мысль. Но, с другой стороны, то, что выражалось на лице О'Брайена, возможно даже не было отступничеством, а просто интеллектом. Во всяком случае, он производил впечатление человека, с которым можно было бы поговорить, если бы удалось как-нибудь обмануть телескрин и остаться с ним с глазу на глаз. Уинстон никогда не делал ни малейшей попытки проверить свою догадку, да такой возможности ему и не предоставлялось. Войдя в зал, О'Брайен взглянул на часы, и, увидев, что они показывают около одиннадцати ноль-ноль, решил, видимо, остаться в Отделе Документации до конца Двух Минут Ненависти. Он опустился на стул в том же ряду, где сидел Уинстон, так что их разделяло всего несколько мест. Маленькая женщина со светло-рыжими волосами, работавшая в соседней с Уинстоном кабинке, сидела между ними. Черноволосая девушка уселась прямо позади.

В следующее мгновение дикий скрежет вырвался из большого телескрин, стоявшего в конце комнаты, словно заработала какая-то чудовищная несмазанная машина. От этого звука пробегал мороз по коже, и дыбом становились волосы. Ненависть началась.

Как обычно, на экране замелькало лицо врага народа Эммануила Гольдштейна. Тут и там среди зрителей зашикали. Маленькая рыжеволосая женщина пискнула от страха и отвращения одновременно. Когда-то давно (когда именно, – никто точно не помнил) ренегат и отступник Гольдштейн был одной из ведущих фигур в Партии и стоял почти рядом со Старшим Братом, но потом занялся контрреволюционной деятельностью, был приговорен к смерти, тайно бежал и исчез. Программа Двух Минут Ненависти менялась изо дня в день, но Гольдштейн всегда оставался ее главным действующим лицом. Он был первым изменником в Партии, первым осквернителем ее чистоты. Все последующие преступления против Партии, всякое предательство, все акты саботажа, ересь и уклоны – прямо вытекали из его учения. Он был еще жив и, – то ли где-то за морем под опекой своих иностранных кассиров, то ли (как об этом порой говорили слухи) в каком-то тайном месте в самой Океании, – замыслил заговор.

Сердце Уинстона сжалось. Он никогда не мог видеть лица Гольдштейна, не испытывая сложного болезненного чувства. Это было худощавое еврейское лицо в высоком нервном ореоле белых мелко-вьющихся волос и с маленькой козлиной бородкой, – умное лицо и, тем не менее, как-то врожденно-неприятное, которому длинный тонкий нос, увенчанный на кончике очками, придавал к тому же выражение старческой глупости. В этом лице было что-то овечьё, и голос напоминал бляние овцы. Гольдштейн обрушился с обычными уничтожающими нападками на учение Партии, нападками до того ошибочными и преувеличенными, что они не обманули бы даже ребенка, но вместе с тем, правдоподобными настолько, чтобы внушить тревожную мысль, что иные, менее уравновешенные люди, могут и увлечься ими. Он поносил Старшего Брата, осуждал диктатуру Партии, требовал немедленного заключения мира с Евразией, он отстаивал свободу слова, свободу печати, свободу собраний, свободу мысли, истерически кричал о том, что революция предана, – и все это в стремительных и многосложных выражениях, как бы пародировавших обычный стиль партийных ораторов, в выражениях, насыщенных таким количеством слов Новоречи, какого не употреблял в будничной жизни ни один член Партии. А чтобы не было сомнений в том, что именно стоит за словоблудием Гольдштейна, все это время позади него маршировали бесконечные колонны евразийских солдат; крепкие парни с бесстрастными лицами азиатов шеренга за шеренгой выплывали на поверхность телескрин и пропадали, заменяясь другими, точно такими же. Тупой, ритмический топот солдатских сапог служил фоном для бляющего голоса Гольдштейна.

Не прошло и тридцати секунд, как половина зрителей в зале невольно разразилась восклицаниями ярости. Вид самодовольного овечьего лица и ужасающей силы евразийской армии

позади него был невыносим; кроме того, одно появление Гольдштейна или даже одна мысль о нем автоматически рождали страх и гнев. Ненависть к Гольдштейну была более постоянной, чем даже к Евразии или Истазии, потому что, воюя с одной из этих стран, Океания обычно находилась в мире с другой. Но вот что было странно: хотя Гольдштейна ненавидели и презирали все, хотя каждый день и тысячу раз в день, – с трибун, по телескрину, в книгах и газетах, – его теории опровергались, разбивались вдребезги, осмеивались и выставлялись напоказ, как самый жалкий вздор, – несмотря на все это, его влияние, казалось, ничуть не ослабевало. Вечно находились новые и новые простаки, готовые попасться ему на удочку. Не проходило дня, чтобы Полиция Мысли не разоблачала саботажников или шпионов, действовавших под его водительством. Он командовал огромной и таинственной армией – подпольной сетью заговорщиков, всецело посвятивших себя одной цели: ниспровержению власти Государства. Предполагали, что эта организация называет себя *Братством*. Шепотом рассказывались также разные истории об ужасной книге, – средоточии всей ереси, – автором которой был Гольдштейн и которая тайно распространялась то здесь, то там. У нее не было названия. О ней говорили (если вообще говорили) просто как о книге. Но все это относилось к области туманных слухов. Ни один рядовой член Партии никогда не упоминал ни *Братства*, ни книги, если этого можно было избежать.

На второй минуте ненависть перешла в исступление. Люди вскакивали с мест и орали во все горло, стараясь заглушить блеющий голос, раздававшийся с экрана и доводивший их до бешенства. Маленькая рыжеволосая женщина раскраснелась и то открывала, то закрывала рот, словно выброшенная на сушу рыба. Даже мрачная физиономия О'Брайена пылала. Он сидел, очень прямой, на стуле, и его мощная грудь поднималась и дрожала, как будто в нее били волны. Девушка, с черными волосами вдруг закричала – «свинья! свинья! свинья!» – и, схватив тяжелый словарь Новоречи, швырнула его в экран. Ударив Гольдштейна по носу, он отскочил, – голос неумолимо продолжал звучать. В минуту просветления Уинстон поймал себя на том, что кричит вместе с другими и неистово стучит каблуками по перекладине стула. Самое страшное в Двух Минутах Ненависти заключалось не в том, что каждый должен был участвовать в них, а в том, что, участвуя, невозможно было оставаться безучастным.

Но уже через тридцать секунд притворяться было незачем. Отвратительный экстаз страха и мести, желание убивать, мучить, сокрушать кузнечным молотом чьи-то черепа, подобно электрическому току, неслись по всему залу, превращая людей против их желания в визжащих и гримасничающих помешанных. И тем не менее, их ярость оставалась ненаправленным и отвлеченным чувством, которое, как пламя паяльной лампы, могло переключаться с одного объекта на другой. Так, например, в какую-то минуту ненависть Уинстона была обращена вовсе не против Гольдштейна, а, наоборот, против Старшего Брата, Партии, Полиции Мысли, и в это время его сердце устремлялось к осмеянному и одинокому еретика на экране – единственному стражу правды и здравого смысла в мире лжи. А еще через секунду он был снова заодно с другими, и все, что говорилось о Гольдштейне, казалось ему правдой. В такие минуты его затаенная ненависть к Старшему Брату превращалась в обожание, а сам Старший Брат – в непобедимого и неустрашимого защитника, возвышавшегося, как скала, между ним и азиатскими ордами; Гольдштейн же, несмотря на свое одиночество, беспомощность и неизвестность, которая окутывала самое его существование, представлялся неким злым волшебником, способным одной мощью голоса разрушить основы цивилизации.

По временам можно было сознательно направить ненависть по тому или иному пути. Каким-то громадным усилием воли, как человек, который отрывает голову от подушки в ночном кошмаре, Уинстон вдруг сумел переключить свою ненависть с лица на экране на черноволосую девушку, сидевшую за ним. Живые и прекрасные видения вспыхивали в его мозгу. То он забивал ее насмерть резиновой дубинкой. То привязывал обнаженную к столбу и расстреливал из лука, как св. Севастиана. То он насиловал ее и в момент высшего наслаждения

перерезал ей горло. Лучше и полнее, чем прежде, он понимал теперь, почему так ненавидит ее. Потому что она молода, красива и – бесполо; потому что он хотел бы обладать ею, но знал, что этого не будет никогда; потому что вокруг ее дивной талии, которая, казалось, просится в объятия, обвивался только гнусный алый кушак – воинствующий символ целомудрия.

Ненависть достигала высшей точки. Голос Гольдштейна превратился в настоящее бляение, и лицо на мгновение стало подлинной овечьей мордой. Потом на ее месте возникла фигура громадного и ужасного по виду евразийского солдата; держа перед собою грохочущий автомат, он двигался прямо на зрителей и, казалось, вот сейчас прыгнет на них с экрана, так что люди в передних рядах в испуге отшатнулись от него на своих стульях. Но в тот же миг глубокий вздох облегчения вырвался у всех: ненавистная фигура растворилась, обратившись в лицо Старшего Брата – черноусого, черноволосого, преисполненного силы и загадочного спокойствия, в такое громадное лицо, что оно заполнило собою почти весь экран. Никто не слышал, что говорил Старший Брат. Просто несколько слов ободрения, вроде тех, что говорят в громе битвы и, хотя не различаются в отдельности, но воскрешают уверенность тем, что они были вообще сказаны. Затем лицо Старшего Брата опять исчезло, и вместо него выступили три лозунга Партии, написанные четкими заглавными буквами:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО СИЛА

Однако, создавалось впечатление, что лицо Старшего Брата продолжало еще несколько секунд оставаться на экране, словно его отпечаток в глазах зрителей был слишком жив, чтобы сразу стереться. Маленькая рыжеволосая женщина перегнулась через спинку стоявшего перед нею стула. Прошептав дрожащим голосом что-то похожее на «Спаситель!» – она простерла руки к экрану, а затем закрыла ими лицо. Было видно, что она молится.

В этот миг вся группа людей низкими голосами, медленно, ритмично, монотонно затянула – «Эс-Бэ!.. Эс-Бэ!.. Эс-Бэ!..»

– очень медленно, с большой паузой между первым «эс» и вторым «бэ» – тяжелое, бормочущее пение, в котором было нечто первобытное: за ним невольно слышался топот босых ног и дробь том-тома. Оно тянулось секунд тридцать. Напев этот часто раздавался в минуты особенно большого подъема чувств. Он представлял собою род гимна в честь мудрости и величия Старшего Брата, но прежде всего это был акт самогипноза: намеренное усыпление сознания с помощью ритмического шума. В душе Уинстона словно что-то оборвалось. Если во время Двух Минут Ненависти он не мог устоять против общей истерии, то это получеловеческое, монотонное «Эс-Бэ!.. Эс-Бэ!..» всегда наполняло его ужасом. Конечно, он тянул вместе со всеми, иначе и быть не могло. Умение скрывать свои чувства, следить за выражением лица и делать то, что делают все остальные уже превратилось в инстинктивную реакцию. Но был какой-то промежуток времени, всего две-три секунды, когда выражение глаз, возможно, могло его выдать. И в этот самый промежуток произошла одна многозначительная вещь, если она действительно произошла.

На миг он поймал глаза О'Брайена. О'Брайен встал. Он был без очков и как раз надевал их своим характерным жестом. Однако, на какую-то долю секунды глаза их встретились, и в этот миг Уинстон знал, да, знал! – что О'Брайен думает о том же, что и он. Ошибки быть не могло. Как будто их сердца открылись, и этот взгляд передал чувства одного другому. «Я с тобой, – словно говорил О'Брайен. – Я знаю совершенно точно, что ты чувствуешь. Я знаю все о твоей ненависти, о твоём негодовании и презрении. Но не беспокойся. Я – с тобой!» А затем искра сознания погасла, и лицо О'Брайена стало таким же непроницаемым, как и у всех других.

Вой и все. И он уже сомневался – было ли это? Такие происшествия никогда ни к чему не приводили. Они только поддерживали в нем веру или надежду, что он не одинок в своей

вражде к Партии. В конце концов, /слухи об огромной тайной сети конспираторов могли быть правдой, и Братство, может быть, действительно существовало. Несмотря на бесконечные аресты, признания и казни, не верилось, что оно просто вымысел. Иногда он верил в него, иногда нет. Никаких доказательств не существовало, а лишь смутные намеки, которые, возможно, что-то значили, но могли и ничего не значить: обрывки случайно подслушанных разговоров, неясные каракули на стенах уборных, иногда даже – движение руки при встрече незнакомых людей, служившее, быть может, опознавательным сигналом. Но все это – только догадки, и очень вероятно – плод его воображения. Он направился в свою кабинку, не посмотрев еще раз на О'Брайена. Мысль о том, чтобы как-нибудь закрепить их мимолетное общение даже не приходила ему в голову. Это таило бы в себе невероятную опасность, если бы он и знал, как это можно сделать. На секунду, на две они обменялись многозначными взглядами – и все. Но и это было памятным событием в том замкнутом мире одиночества, в котором приходилось жить.

Уинстон очнулся и выпрямился на стуле. Отрыгнулось джином.

Его взгляд снова сосредоточился на тетрадке. Он обна-ружил, что пока сидел в бесплодной задумчивости, он что-то бессознательно писал. И притом не прежним неуверенным и сжатым почерком. Теперь его перо с наслаждением скользило по гладкой бумаге, выводя большими ровными заглавными буквами:

ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА
ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА —

и так на полстраницы.

Он почувствовал, что невольно снова поддается панике. Это было глупо, потому что написанные им слова были не опаснее, чем самое решение начать дневник. И все же, на минуту он испытал соблазн: не вырвать ли испорченные страницы и не покончить ли разом всю историю?

Но, сознавая бесполезность этого намерения, он отказался от него. Безразлично, станет он писать «Долой Старшего Брата!» или не станет. Безразлично, будет продолжать дневник или не будет. Все равно Полиция Мысли доберется до него'. Он уже совершил, – и совершил бы, даже если бы никогда не брался за перо, – тягчайшее из преступлений, которое содержит в себе все другие. Преступление мысли – таково его название. А преступление мысли не такая вещь, которую можно скрыть навеки. Можно увернуться на время, даже на года, но рано или поздно должен наступить конец.



Портрет Поля Элюара

Он наступит ночью, потому что арестовывают только по ночам. Внезапный рывок во сне. Грубая рука, трясущая вас за плечо. Слепящий свет в глаза. Круг каменных лиц возле постели. И в огромном большинстве случаев – никакого суда, никакого сообщения об аресте. Люди просто исчезают и всегда ночью. Ваше имя устраняется со всех документов, всякий след, вами оставленный, стирается, а тот факт, что вы когда-то существовали – сначала отрицается, а потом о нем попросту забывают. Вы уничтожаетесь, превращаетесь в нуль, или, как принято выражаться, *распыляетесь*.

На мгновение он словно впал в истерику. Торопливыми и неряшливыми каракулями он принялся писать:

*они расстреляют меня Мне наплевать они подстрелят меня сзади
в затылок Мне наплевать долой старшего брата они всегда стреляют в
затылок Мне наплевать долой старшего брата...*

Слегка стыдясь себя, он откинулся на стуле и положил перо. В следующее мгновение он весь затрепетал. В дверь постучали.

Уже! Он притаился, как мышь, в тщетной надежде на то, что кто бы это ни стучался, он, может быть, уйдет после первой же попытки. Но, нет – стук повторился. Самое худшее теперь – это промедление. Его сердце колотилось, как барабан, но лицо, благодаря давней привычке, оставалось бесстрастным. Он поднялся и тяжелой походкой направился к дверям.

II

Когда Уинстон уже взялся за ручку двери, он заметил, что оставил дневник открытым на столе. Слова *ДОЛОЙ СТАРШЕГО БРАТА* были написаны вдоль и поперек страницы такими буквами, что их можно было прочесть с другого конца комнаты. Непонятно, как можно было допустить такую глупость! Но тут же он сообразил, что даже охваченный паникой не закрыл тетрадки, чтобы не запачкать кремовой бумаги неподсохшими чернилами.

Он собрался с духом и открыл дверь. И сразу теплая волна облегчения прихлынула к сердцу. Бесцветная, забитого вида женщина, с прямыми прядями волос и морщинистым лицом, стояла у входа.

– Ах, товарищ, – заговорила она скучным, хнычущим голосом, – значит, я не ослышалась, что вы пришли. Не можете ли вы зайти к нам и взглянуть на раковину в кухне. Она забилась и...

Это была госпожа Парсонс, жена соседа с того же этажа. (Партия не одобряла слова «госпожа», но, обращаясь к некоторым женщинам, люди инстинктивно пользовались им, хотя и полагалось называть всех «товарищ»). Ей было лет тридцать, но выглядела она много старше. Глядя на нее, можно было подумать, что в каждой складке ее лица осела пыль. Уинстон пошел за нею по коридору. Эти любительские ремонты изводили его чуть не каждый день. Особняки Победы представляли собой старые квартиры, построенные еще в 30-ых годах или около того, и теперь разваливались. Штукатурка вечно осыпалась шелухой со стен и с потолка, трубы лопались при каждом сильном морозе, крыши начинали течь, стоило только выпасть снегу, а батареи отопления нагревались лишь наполовину, если пар, в целях экономии, не был выключен совсем. Ремонты, кроме тех, что можно было сделать силами самих жильцов, нуждались в разрешении каких-то тайнственных комитетов, которые даже починку оконных рам способны были затянуть на два года.

– Конечно, это только потому, что Том еще не приходил, – заметила туманно госпожа Парсонс.

Квартира Парсонсов была просторнее, чем у Уинстона и захлавлена по-своему. Все выглядело разгромленным, раздавленным, словно тут недавно побывал какой-то большой дикий зверь. По полу нельзя было пройти, не споткнувшись о разбросанные всюду спортивные принадлежности. Тут были и хоккейные клюшки, и боксерские перчатки, и порванный футбольный мяч, и пара вывернутых наизнанку пропотевших трусиков. На столе гнезился выводок немытой посуды и валялось несколько затрепанных ученических тетрадей. На стене висели алые знамена Лиги Молодежи и Юных Шпионов, а также портрет Старшего Брата в натуральную величину. Привычный запах вареной капусты, наполнявший все здание, стоял и здесь, но забивался другим острым запахом, который, – как об этом непонятным образом, но сразу можно было догадаться, – принадлежал отсутствующему лицу. В соседней комнате кто-

то с помощью гребенки и куска туалетной бумаги пытался вторить военной музыке, которая все еще передавалась телескрином.

– Эти дети, – промолвила госпожа Парсонс, полуиспуганно косясь на дверь. – Они сегодня дома и, конечно...

У нее была привычка перебивать самое себя на середине фразы. Кухонная раковина была почти до краев наполнена грязной зеленоватого цвета водой, издававшей даже худший запах, чем вареная капуста. Уинстон опустил на колени и осмотрел сифон. Он терпеть не мог копаться руками и наклоняться, потому что когда наклонялся, у него начинался кашель. Госпожа Парсонс смотрела с беспомощным видом.

– Конечно, если бы Том был дома, он живо привел бы все это в порядок, – сказала она. – Он любит такие вещи. У него золотые руки, у Тома.

Парсонс был сослуживцем Уинстона по Министерству Правды. Это был тучный, но подвижной человек, парализованный непроходимой глупостью – какая-то глыба слабоумного энтузиазма, один из тех совершенно нерассуждающих и преданных службистов, на которых даже больше, чем на Полиции Мысли, держалась Партия. Хотя ему уже исполнилось тридцать пять лет, он только теперь, и то против своей воли, был отчислен из Лиги Молодежи, а до этого ухитрился просидеть в Юных Шпионах целый лишний год сверх положенного по закону возраста. В Министерстве он был занят на какой-то второстепенной работе, где не требовалось большого ума, но зато был заправиллой в Комитете Спорта и в разных других комитетах, занимавшихся организацией массовых вылазок, «стихийно» возникавших демонстраций, сбором сбережений и всякой иной общественной работой. С тихой гордостью, попыхивая своей трубочкой, он мог рассказать вам, что за четыре года не пропустил ни одного вечера, чтобы не побывать в Общественном Центре. Непреодолимый запах пота, немой свидетель его напряженной деятельности, следовал за ним повсюду, оставаясь даже и после его ухода.

– Есть у вас гаечный ключ? – спросил Уинстон, безуспешно пытаясь отвернуть руками гайку сифона.

– Ключ? – отозвалась госпожа Парсонс, немедленно впадая в растерянность. – Не знаю... Да, да, конечно, есть. Быть может, дети...

Топот ботинок и новый взрыв музыки на гребенке возвестили о том, что дети ворвались в гостиную. Госпожа Парсонс принесла ключ. Уинстон спустил воду и с отвращением вытащил клубок волос, забивавший трубу. Он постарался почище вымыть руки, насколько это можно было сделать холодной водой из-под крана, и направился в другую комнату.

– Руки вверх! – раздался свирепый голос.

Хорошенький девятилетний мальчик с волевыми и вместе с тем жестокими чертами лица внезапно выскочил из-за стола, угрожая Уинстону игрушечным револьвером. Его сестренка, года на два младше, сделала тот же самый жест, сжимая в руке какую-то деревяшку. Оба были одеты в форму Юных Шпионов: короткие синие штанишки и серые рубашки с красным шейным платком. Уинстон поднял руки, но сделал это с тяжелым чувством в сердце: в поведении мальчика была такая злоба, что оно совсем не походило на игру.

– Ты предатель! – кричал он. – Ты преступник мысли! Ты евразийский шпион! Я расстреляю тебя! Ты у меня распылишься! Я сошлю тебя в соляные копи!

Оба они вдруг запрыгали вокруг Уинстона, крича «предатель!» и «преступник мысли!», причем девочка во всем подражала брату. В этом было что-то устрашающее, словно в возне тигрят, которые вот-вот должны превратиться в настоящих людоедов. Какая-то рассчитанная свирепость была в глазах мальчика – совершенно явное желание ударить или пнуть Уинстона, и сознание, что скоро он станет достаточно взрослым, чтобы сделать это. Хорошо, что у него в руках не настоящий револьвер, – подумал Уинстон.

Глаза госпожи Парсонс тревожно перебегали с Уинстона на детей и снова на Уинстона. Здесь, в гостиной, которая была лучше освещена, он с интересом заметил, что в складках ее лица действительно сидела пыль.

– Они расстроены тем, что не могли пойти посмотреть на казнь и потому так шумят, – сказала она. – Я слишком занята, а Том задерживается на работе.

– Почему мне нельзя посмотреть, как будут вешать? – заорал мальчишка во всю мочь.

– Я тоже хочу посмотреть, как вешают, я тоже хочу! – затынула девочка, все еще прыгая по комнате.

Уинстон вспомнил, что сегодня вечером в Парке будут вешать каких-то евразийских пленных, обвиняемых в военных преступлениях. Такие казни происходят приблизительно раз в месяц и являются общедоступным зрелищем. Дети вечно шумно и настойчиво требуют, чтобы их повели посмотреть на казнь.

Уинстон распрощался с госпожой Парсонс и вышел. Но не успел он сделать 'и шести шагов по коридору, как что-то ударило его сзади в шею, причинив мучительную боль. Как будто раскаленный докрасна провод вонзился ему в тело. Повернувшись, он успел увидеть, как госпожа Парсонс толкает сына в комнату, в то время как тот сует себе в карман рогатку.

– Гольдштейн! – прогрохотал мальчишка, когда дверь за ним захлопывалась. Но что поразило Уинстона больше всего – это выражение беспомощного страха на пепельном лице женщины.

Вернувшись к себе, он быстро прошел мимо телескрин и, все еще потирая шею, снова сел к столу. Передача военной музыки по телескрину прекратилась. Вместо нее отрывистый голос военного с каким-то грубым наслаждением читал описание вооружения новых Пловучих Крепостей, которые только что стали на якоря между Исландией и Ферарскими островами.

С такими детьми, – думал Уинстон, – эта несчастная женщина должна жить в постоянном страхе. Пройдут еще год или два, и они начнут следить за нею днем и ночью, чтобы уличить в каком-нибудь уклоне. В теперешние времена почти все дети ужасны. Однако, хуже всего то, что систематическое превращение их с помощью таких организаций, как Юные Шпионы, в маленьких неукротимых дикарей не вызывает у них ни малейшего протеста против дисциплины Партии. Напротив, они обожают Партию и все, что с нею связано. Песни, демонстрации, знамена, массовые экскурсии, упражнения с бутафорскими винтовками, выкрикивание лозунгов, прославление Старшего Брата – вот те игры, которые, по-видимому, привлекают их больше всего. Вся их ярость целиком обращена вовне – против врагов Государства, против иностранцев и предателей, саботажников и преступников мысли. Стало уже почти нормальным, что люди старше тридцати лет боятся своих собственных детей. И не напрасно: не проходит ни одной недели, чтобы Таймс не опубликовал заметки о каком-нибудь маленьком подлом наушнике – «юном герое», по общепринятому выражению, – который, подслушав несколько компрометирующих фраз, донес на собственных родителей в Полицию Мысли.

Жгучая боль, причиненная рогаткой, немного улеглась. Уинстон равнодушно взялся за перо, раздумывая над тем, что еще можно было бы занести в дневник. Внезапно он опять стал думать об О'Брайене.

Когда-то давным-давно... Но когда именно? Лет, быть может, семь тому назад ему приснился сон: будто он идет в крошечной тьме по комнате. И кто-то невидимый, сидя в стороне, замечает в тот момент, когда он проходит мимо: «Мы встретимся в царстве света». Это было сказано очень спокойно, как бы между прочим – тоном утверждения, а не приказа. Он прошел, не останавливаясь. Любопытно, что тогда, во сне, эти слова не произвели большого впечатления на него. Лишь позднее они, казалось, стали наполняться важным смыслом. Он теперь не мог припомнить, до этого сна или после него он увидел в первый раз О'Брайена. Не помнил он и того, когда опознал голос, причудившийся во сне, как голос О'Брайена. Но, так или иначе, он опознал его. Это О'Брайен обращался к нему из темноты.

Уинстон никогда не мог окончательно убедиться – друг ему О’Брайен или враг; невозможно было убедиться даже и после сегодняшнего обмена взглядами. Но это было и не важно. Какое-то понимание связывало их, и оно было более значительным, чем взаимное расположение или партийная дружба. «Мы встретимся в царстве света», – сказал он. Уинстон не знал, что это значит, но был уверен в том, что так или иначе это должно осуществиться.

Диктор на минуту замолчал. В застоявшемся воздухе пролился чистый и прекрасный зов трубы. Голос скрипуче продолжал:

– Внимание! Внимание! Только что получена экстренная телеграмма с Малабарского фронта. Наши войска в Южной Индии одержали блестящую победу. Мне поручено сказать, что битва, о которой мы сейчас сообщим, возможно, подводит нас вплотную к концу войны. Слушайте телеграмму...

«Жди скверных новостей», – подумал Уинстон. И действительно, сейчас же за кровавым описанием разгрома евразийской армии и перечислением баснословного количества убитых и пленных, последовало объявление, что, начиная с будущей недели, паек шоколада сокращается с тридцати граммов до двадцати.

Уинстон отрыгнул опять. Опыянение проходило, оставляя чувство пустоты. Телескрин, то ли в ознаменование победы, то ли, чтобы заглушить воспоминание о потерянном Шоколаде, разразился гимном «Тебе, Океания». Полагалось встать смиренно. Но в том, положении, в каком сидел Уинстон, его не видели.

«Тебе, Океания» уступил место легкой музыке. Держась спиной к телескрину, Уинстон подошел к окну. На дворе по-прежнему было ясно и холодно. Где-то вдалеке с глухим раскатистым грохотом взорвался реактивный снаряд. В настоящее время на Лондон падало от двадцати до тридцати бомб в неделю.

Внизу, на улице, ветер порывисто трепал туда и сюда порванный плакат, и слово АНГ-СОЦ то появлялось, то исчезало. Ангсоц. Священные принципы Ангсоца. Новоречь, двоемыслие, видоизменения прошлого. Уинстон чувствовал себя так, словно блуждал в лесу или на дне морском, затерявшись в чудовищном мире, где и сам он был чудовищем. Какое одиночество! Прошлое умерло, будущего нельзя себе представить. Может ли он быть уверен, что хоть одно из всех живущих человеческих существ – на его стороне? Может ли он знать, что господство Партии не будет продолжаться вечно? Словно в ответ, три лозунга снова стали надвигаться на него с белого фасада Министерства Правды:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО СИЛА

Он вынул из кармана двадцатипятицентовую монету. И на ней ясными крошечными буквами были отчеканены те же лозунги, а на оборотной стороне изображалась голова Старшего Брата. Даже и с монеты глаза преследовали вас. На монетах и на марках, на обложках книг, на знаменах и плакатах, на обертках папиросных пачек – всюду! Вечно подстерегающие вас глаза и обволакивающий голос. Ни во сне, ни наяву, ни на работе, ни за едой, ни дома, ни на улице, ни в ванной, ни в постели – нигде нет спасения от них. И ничто, кроме нескольких кубических сантиметров в вашем черепе, вам не принадлежит.

Солнце переместилось, и бесчисленные окна Министерства Правды, более не освещаемые им, глядели зловеще, как бойницы крепости. Его сердце дрогнуло перед громадным пирамидальным призраком. Его не взять приступом – оно слишком прочно. Тысяча ракетных бомб – и то не разобьет его.

Опять он с недоумением подумал: для кого пишет дневник. Для будущего? Для прошлого? Для века, который можно лишь вообразить? А ведь впереди его ждет не смерть, а уничтожение. Дневник превратится в пепел, а сам он в пыль. Лишь Полиция Мысли, быть может,

прочитает то, что им написано, прежде чем вытравить написанное из жизни и из памяти. Как можно искать поддержки у будущего, если ни один ваш след, даже ни одно безымянное слово, нацарапанное на клочке бумаги, не может уцелеть?

Телескрин пробил четырнадцать. Через десять минут ему надо было выходить. Он должен вернуться на работу к четырнадцати тридцати.

Странно: бой часов словно придал ему новые силы. Он был одиноким духом, вещающим правду, которой никогда никто не услышит. Но пока он говорит ее, преемственность, каким-то неизвестным образом, сохраняется. Духовное наследство человечества передается дальше не потому, что вас кто-то услышал, а потому, что вы сами сохранили рассудок. Он вернулся к столу, обмакнул перо и написал:

Будущему или прошлому, – тому веку, когда мысль свободна, когда люди отличаются друг от друга и не живут в одиночестве, тому веку, когда существует правда и то, что сделано – то сделано – от эпохи единообразия, от эпохи одиночества, от эпохи Старшего Брата, от эпохи двоемыслия – привет!

Он уже мертв – промелькнуло у него. Ему казалось, что только теперь, когда он обрел способность выражать себя, он сделал решающий шаг. Последствия каждого действия заключаются в самом этом действии. Он написал:

Преступление мысли не влечет за собою смерть: оно ЕСТЬ смерть.

Теперь, когда он смотрел на себя, как на мертвого, необходимо было остаться в живых как можно дольше. Два пальца на правой руке были запачканы чернилами. Именно такая мелочь может выдать. Какой-нибудь фанатик в Министерстве из числа тех, что во все суют свой нос (скорее всего женщины, вроде той, маленькой, рыжей, или черноволосой девушки из Отдела Беллетристики), пожалуй, заинтересуется, почему он писал в обеденный перерыв и почему писал старинным пером да что он писал, а потом и намекнет, где надо. Он отправился в ванную комнату и смыл чернила темно-коричневым грубым мылом, которое скребло кожу, как наждак, и потому очень подходило для его цели.

Затем он положил дневник в ящик стола. Нечего было и думать о том, чтобы спрятать его, но он, по крайней мере, хотел быть уверенным, что будет знать, когда его обнаружат. Волос, заложенный между концами страниц, был бы слишком заметен. Кончиком пальца он подобрал приметную белесоватую пылинку и поместил ее на угол обложки, откуда она обязательно должна была слететь, если бы тетрадь пошевелили.

III

Уинстону снилась его мать.

Ему было, как он полагал, лет десять или одиннадцать, когда она и-лезла. Она была высокой, стройной и довольно молчаливой женщиной с медленными движениями и с роскошными белокурыми волосами. Отца он представлял себе более смутно: как худого, темноволосого человека в очках, всегда одетого в изящный черный костюм. (Уинстону почему-то особенно запомнились очень тонкие подошвы отцовских ботинок). Оба они, очевидно, были проглочены одной из великих чисток пятидесятых годов.

В эту минуту мать, держа на руках его младшую сестренку, сидела где-то глубоко внизу, значительно ниже того места, где находился он сам. Сестру он не помнил вовсе, знал только, что она была совсем еще крохотным, всегда молчаливым и хилым ребенком с большими внимательными глазами. Обе они смотрели на него. Они были где-то под землей, на дне колодца, например, или в очень глубокой могиле, во всяком случае, уже много ниже его и в каком-то таком месте, которое само уходило все вниз и вниз. Или они находились в салоне тонущего

корабля и глядели на него сквозь темную завесу воды. В салоне еще был воздух, они еще могли видеть его, так же, как и он их, но они все время погружались глубже и глубже в зеленую воду, которая вот- вот должна была навеки скрыть их из глаз. Вокруг него были воздух и свет, в то время как их засасывала смерть, и она затягивала их потому, что он был здесь наверху. И он и они знали это, и по их лицам он видел, что они знают. Однако, ни на лицах у них, ни в сердцах не было упрека, а одно лишь понимание того, что они должны умереть, чтобы он жил и что это – часть неизбежного порядка вещей.

Он не мог припомнить, что случилось, но сознавал во сне, что почему-то мать и сестра должны были пожертвовать собою ради него. Это был один из тех снов, которые, сохраняя характерную обстановку сна, служат продолжением нашей мысли и в которых познаются факты и идеи, кажущиеся и новыми и ценными после пробуждения. Уинстона внезапно поразила мысль, что тридцать лет тому назад, когда умерла его мать, смерть ее воспринималась так трагически и горько, как это уже невозможно теперь. Трагедия, думал он, – понятие старого времени, когда еще существовали уединение, любовь и дружба и когда члены одной семьи были верными друзьями, даже не нуждаясь в объяснении этого. Воспоминание о матери ранило его в сердце потому, что она умерла, любя его, когда он был еще слишком мал и эгоистичен, чтобы отвечать ей той же любовью, и еще потому, что каким-то образом, – он не знал точно, каким, – она принесла себя в жертву ради ее собственного и незыблемого понятия о долге. Он знал, что такие вещи невозможны теперь. Да, теперь были страх, ненависть и боль, но не было величия чувств и глубокой, и многообразной скорби. И то, и другое, как ему казалось, он видел в больших глазах матери и сестры, когда они смотрели на него сквозь зеленую воду из глубины сотен саженей и все еще продолжая погружаться вниз.

Внезапно он оказался на лужайке, поросшей короткой упругой травой. Был летний вечер, и косые лучи солнца золотили землю. Пейзаж, расстилавшийся перед его взором, так часто являлся ему во сне, что он никогда не мог вполне уверенно сказать, видел он его в жизни или нет. Мысленно, наяву, он называл его Золотой Страной. Это было старое, потравленное кроликами пастбище, с бегущей по нему пешеходной тропинкой и с кротовинами то тут, то там. На противоположной стороне, за неровной живой изгородью, кущи вязов слабо покачивались под легким ветерком, шевеля густой массой листьев, словно космами женских волос. Где-то рядом, хотя и невидимый, медленно струился чистый поток, и в заводях его, под ивами, играли ельцы.

Черноволосая девушка шла через поле к нему. Как бы одним движением, она сорвала с себя одежду и с пренебрежением швырнула ее в сторону. У нее было белое и гладкое тело, но оно не вызвало в нем желаний – он едва взглянул на него. Непреодолимое восхищение охватило Уинстона в этот миг – восхищение жестом, которым она отбросила одежду. Его грация и небрежность, казалось, зачеркивали всю культуру, все мировоззрение, словно и Старший Брат, и Партия, и Полиция Мысли могут быть обращены в ничто одним великолепным движением руки. Этот жест также принадлежал старому времени. Уинстон проснулся со словом «Шекспир» на устах.

Из телескрина доносился раздражающий уши свист, который продолжался на одной и той же ноте тридцать секунд. Он давался в семь пятнадцать – время подъема служащих. Уинстон с усилием поднялся с постели, – он спал голый, потому что члены Внешней Партии получали лишь три тысячи талонов на одежду в год, а пижама одна стоила шестьсот, – и взялся за грязную фуфайку и трусики, лежавшие на стуле. Через три минуты начиналась физзарядка. Но тотчас же он весь скрючился от бешеного кашля, который охватывал его почти всегда вскоре после пробуждения. Этот кашель – так опустошал его легкие, что для того, чтобы восстановить дыхание, приходилось ложиться на спину и с трудом делать несколько глубоких судорожных вздохов. От кашля вздувались вены и начинала зудеть верикозная язва.

– Группа от тридцати до сорока! – затыкал пронзительный женский голос. – От тридцати до сорока! Становитесь в позицию, пожалуйста. Тридцатилетние – сорокалетние!

Уинстон встал навтыяжку перед телескрином, на экране которого уже появилось изображение шуплой, но мускулистой женщины, выглядевшей молодо не по годам и одетой в тунику и спортсменки.

– Упражнение на сгибание и разгибание рук, – отчеканила она. – Следите за мною. Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! Давайте, товарищи, давайте! Больше жизни! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре!

Боль от пароксизма кашля все же не совсем вытравивла из памяти впечатление сна, а теперь эти ритмичные движения в какой-то мере освежили их. В то время как он с выражением свирепого наслаждения, которое считалось самым подходящим для физической зарядки, автоматически выбрасывал руки вперед и назад, его мысль пробивала себе путь к туманным дням раннего детства. Это было необычайно трудно. Все, что происходило до конца пятидесятих годов, поблекло. Когда нет внешних регистраторов событий, с которыми можно сверяться, даже контуры собственной жизни теряют отчетливость. Вспоминаются грандиозные события, которых, может быть, вовсе и не было; вспоминаются детали происшествий, но общего духа времени почувствовать уже больше нельзя: наконец, имеются периоды, вообще не отмеченные в памяти ничем. Все было иным тогда. Даже названия стран и их очертания на карте были другими. Первая Посадочная Полоса, например, называлась в те дни не так, а Англией или Британией, хотя Лондон, – в этом он был почти убежден – всегда назывался Лондоном.

Уинстон не помнил такого времени, когда его страна не воевала бы, но ясно представлял, что когда он был еще ребенком, существовал довольно продолжительный период мира, потому что одним из его ранних воспоминаний был воздушный налет, который, как ему казалось, застал всех врасплох. Быть может, это было, когда атомная бомба упала на Колчестер. Он не помнил самого налета, но вспоминал руку отца, крепко сжимавшую его руку, когда они спустились вниз, вниз и вниз, куда-то глубоко под землю, все кругом и кругом по спиральной лестнице, которая звенела у него под ногами и, наконец, так утомила его, что он начал хныкать, и они должны были остановиться и отдохнуть. Мать, как всегда мечтательно-медлительная, шла далеко позади. Она несла на руках его маленькую сестренку, но, может быть, это был просто ворох одеял, – он не был уверен, что его сестра уже родилась к тому времени. Наконец, они очутились в каком-то шумном, переполненном людьми помещении, которое, как он понял, было станцией метро.

По всему полу, выложенному каменными плитами, и на двухэтажных металлических койках – везде теснились люди. Уинстон с отцом и матерью нашли местечко на полу; рядом с ними на койке сидели старик со старухой. На старике был черный приличный костюм и черная же кепка, сдвинутая на самый затылок. У него было багровое лицо, с голубыми, полными слез, глазами и седая голова. Он весь пропах джином. Казалось, что джин выделяется у него даже через кожу, вместо пота, и что слезы, катившиеся у него из глаз, – тоже чистый джин. Несмотря на то, что он был под хмельком, он мучился каким-то неподдельным и невыносимым горем. В своем детском уме Уинстон решил, что со стариком случилось что-то ужасное, что-то непоправимое и незабываемое. Ему также казалось, что он знает, что это такое. Возможно, что была убита маленькая внучка старика или кто-то другой, кого он очень любил. Чуть не каждую минуту старик повторял:

– Не надо было верить им. Разве я, мать, не говорил, что не надо? Вот что вышло из нашей веры. Я все время это говорил. Ну, как можно было верить этим мерзавцам?

Но кто такие эти мерзавцы, которым нельзя было верить, – Уинстон теперь не мог припомнить.

Примерно с этих пор война буквально не прекращалась, хотя, строго говоря, это была не всегда одна и та же война. Когда он был ребенком, в самом Лондоне несколько месяцев

шли беспорядочные уличные бои, и некоторые их эпизоды он помнил довольно живо. Но проследить историю всего периода и сказать, кто с кем сражался в тот или иной момент, было совершенно невозможно, потому что ни один письменный источник и ни один устный рассказ никогда не упоминали ни о каком союзе, кроме существующего. В настоящее время, например, в 1984-ом году (если это 1984-ый год) Океания находилась в состоянии войны с Евразией и в союзе с Истазией. И ни в публичных, ни в частных высказываниях не позволялось говорить, что в свое время три эти силы группировались иначе. Но Уинстон очень хорошо знал, что на самом деле всего четыре года назад Океания воевала с Истазией и была союзницей Евразии. Однако, это был просто обрывок тайных знаний, которым он владел потому, что его память недостаточно хорошо контролировалась. Официально никакой смены союзников никогда не происходило. Океания воюет против Евразии, – значит, Океания всегда была в войне с Евразией. Тот, кто был врагом в данный момент, всегда изображался абсолютно вечным врагом, из чего следовало, что никакие соглашения с ним ни в прошлом, ни в будущем невозможны.

Ужасно то, – думал он в десятитысячный раз, с болью откидывая назад плечи (положив руки на бедра, вращать верхней частью корпуса – упражнение, полезное для мускулов спины), – ужасно то, что все это может оказаться правдой. То, что Партия способна накладывать руку на прошлое и говорить о том или ином событии – его никогда не было – страшнее даже пыток и смерти.

Партия утверждала, что Океания никогда не была союзницей Евразии. Он, Уинстон Смит, знал, что Океания была в союзе с Евразией всего четыре года тому назад. Но где существовало это знание? Лишь в его сознании, которое, несомненно, скоро будет уничтожено. И если все другие принимали ложь, которую навязывала Партия, если все источники повторяли эту ложь, – значит, ложь входила в историю и становилась правдой. «Кто управляет прошлым, – гласил партийный лозунг, – тот управляет будущим, а кто управляет настоящим, тот управляет прошлым». И все же, прошлое, столь переменчивое по своей природе, никогда не изменялось. То, что правда сейчас, было правдой вовеки. Это совершенно просто. Поэтому, все, что от вас требуется – это побеждать и побеждать без конца собственную память. Это называется «управляемой реальностью» или, на Новоречи, – «двоемыслием».

– Стоять вольно! – твякнула инструкторша немного снисходительнее, чем прежде.

Уинстон опустил руки по швам и снова медленно набрал в легкие воздух. Его мысль скользнула в запутанный лабиринт двоемыслия. Знать и не знать, сознавать всю правду и в то же время говорить тщательно сочиненную ложь; придерживаться одновременно двух мнений, исключаящих друг друга, знать, что они взаимно-противоположны и верить в оба; пользоваться логикой против логики; отвергать мораль и вместе с тем претендовать на нее; верить в то, что демократия невозможна и что Партия – страж демократии; забывать все, что необходимо забыть, затем, когда это требуется, восстанавливать забытое, в памяти и снова моментально забывать и, наконец, – как высшее искусство, – применять этот процесс к самому процессу, т. е. сознательно усыплять сознание и следом за тем уметь заставить себя забыть акт самогипноза, который вы только что совершили. Даже для того, чтобы понять слово «двоемыслие» необходимо прибегать к двоемыслию.

Инструкторша опять отдала команду «смирно».



Девушка у окна (Женская фигура у окна)

– А теперь давайте посмотрим, кто из нас сумеет прикоснуться к кончикам пальцев на ногах, – объявила она с воодушевлением. – Пожалуйста, товарищи, сгибайтесь только в поянице. Раз-два! Раз-два!

Уинстон терпеть не мог этого упражнения, от которого у него по ногам от пяток до ягодиц пробегала острая боль и часто снова начинался приступ кашля. Его воспоминания утратили всякую прелесть. Прошлое, рассуждал он, не только изменено, но и уничтожено. Потому что как можно восстановить даже самые очевидные факты, когда не существует никаких свидетельств, кроме вашей собственной памяти? Он старался вспомнить, в каком году услышал первый раз о Старшем Брате. Кажется, это было в шестидесятых годах, хотя уверенным быть и нельзя. В истории Партии Старший Брат, конечно, фигурировал как вождь и страж рево-

люции с первых ее дней. Его героическая деятельность, постепенно отодвигалась все дальше и дальше в глубь времен, пока не обняла собою баснословного мира сороковых и тридцатых годов, когда капиталисты в своих странных цилиндрических шляпах разъезжали по улицам Лондона в больших сверкающих автомобилях или в застекленных экипажах, запряженных лошадьми. Оставалось неизвестным, что в этой легенде было правдой и что присочинено. Уинстон не мог припомнить даже, когда возникла сама Партия. Ему не верилось, что он слышал слово АНГСОЦ до 1960-го года, но возможно, что его эквивалент на Староречи – «английский социализм» – был в употреблении раньше. Все сливалось в какую-то мглу. Иногда, однако, удавалось обнаружить явную ложь. Неправда, например, что Партия изобрела самолеты, как это утверждается в книгах по ее истории. Он помнил самолеты со дней раннего детства. Но ничего нельзя доказать. И никогда нет улик. Только один раз в жизни у него в руках оказались безошибочные доказательства подделки исторических фактов. И в этом случае...

– Смит! – завизжал сварливый голос из телескрина. – 6079, Смит У! Да, вы! Наклонитесь ниже, пожалуйста! Вы можете проделать это лучше. Просто не стараетесь. Ниже, пожалуйста! Вот это лучше, товарищ. А теперь все встаньте вольно и смотрите на меня.

Горячий пот внезапно выступил по всему телу Уинстона. Но лицо по-прежнему было непроницаемым. Никогда не обнаруживать уныния! Никогда не обижаться! Одно движение глаз может вас выдать. Он стоял смирно, наблюдая, как инструкторша поднимала руки над головой и – не то, что грациозно – но очень четко и искусно касалась руками кончиков пальцев на ногах.

– Вот так, товарищи! Я хочу, чтобы вы делали это вот так. Смотрите еще. Мне тридцать девять лет, и у меня четверо детей. Теперь глядите, – она наклонилась снова, – видите, я не сгибаю колен. Каждый из вас может это сделать, если захочет, – добавила она, выпрямляясь. – Каждый, кому нет сорока пяти лет, вполне может коснуться рукою пальцев на ногах. Не всем нам выпала честь сражаться на фронте, но все мы, по крайней мере, должны быть в форме. Вспомните наших ребят на Малабарском фронте. Вспомните моряков

на Плавающих Крепостях! Подумайте только, что им приходится терпеть. А теперь попробуем опять. Это уже лучше, товарищ, много лучше, – добавила она одобрительно, обращаясь к Уинстону, который впервые за несколько лет сильным рывком и не согнув колен, сумел коснуться пальцев на ногах.

IV

С глубоким бессознательным вздохом, от которого он обычно не мог удержаться в начале рабочего дня, несмотря даже на близость телескрина, Уинстон потянул к себе диктограф, сдул с трубки пыль и надел очки. Затем он развернул и скрепил вместе четыре маленьких бумажных цилиндра, которые уже успела выбросить пневматическая трубка, установленная справа от письменного стола.

В стенах кабинки имелось три жерла. Направо от диктографа – маленькое пневматическое сопло для письменных сообщений, налево, побольше – для газет, а несколько в стороне, но на расстоянии, до которого Уинстон легко доставал рукою – большая продолговатая щель, забранная проволочной сеткой. Она служила для уничтожения бумажного хлама. Тысячи или десятки тысяч таких щелей имелись в здании и не только в каждой комнате, но и в каждом коридоре, где они находились на коротком расстоянии друг от друга. По некоторым причинам они получили прозвище «щелей-напоминателей». Если было известно, что такой-то документ подлежит уничтожению или если даже просто вам попался на глаза ненужный клочок бумаги, вы автоматически приподнимали крышку ближайшей щели-напоминателя и опускали туда этот клочок. Струя теплого воздуха уносила его в громадные печи, скрытые где-то во чреве здания.

Уинстон просмотрел четыре листочка, которые он перед этим развернул. Каждый из них содержал сообщение в одну или две строчки, написанное на сокращенном жаргоне, который употреблялся в Министерстве для внутренних целей; не будучи настоящей Новоречью, он однако содержал в себе много заимствованных из ее слов. В донесениях говорилось:

таймс 17.3.84. речь об африке противoinформационна выпрямить
таймс 19.12.83. предсказание 3 лп 4 квартал 83 опечатки свернуть
текущий выпуск
таймс 14.2.84. минизобилие шоколаде противовыдержки выпрямить
таймс 3.12.83. сообщение дневприказе сб двуплюснехорошо ссылки
нелюдей полнопереписать и верхпред доархивации.

С чувством некоторого удовлетворения Уинстон отложил четвертое донесение в сторону. Это будет сложная и ответственная; работа, и ею лучше заняться под конец. Три других были простой рутинной, хотя над вторым сообщением, быть может, и придется покорпеть из-за обилия скучных цифр.

Уинстон набрал «обратные» номера телескрина и потребовал соответствующие выпуски Таймса. Спустя всего несколько минут они выскользнули из сопла автомата. Полученные им сообщения касались газетных телеграмм и статей, которые, по тем или иным причинам, подлежали переделке или, как было принято выражаться на официальном языке, – выпрямлению. Например, 17-го марта Таймс сообщал о произнесенной накануне речи Старшего Брата, в которой предсказывалось, что затишье на Индийском фронте будет продолжаться, но что в ближайшее время евразийцы начнут наступление в Северной Африке. Однако, случилось так, что Верховное командование Евразии повело наступление в Южной Индии, оставив в покое Северную Африку. Поэтому необходимо было переделать соответствующий абзац речи Старшего Брата таким образом, чтобы его предсказание совпадало с действительным ходом вещей. Или, в другом случае, Таймс 19-го декабря опубликовал официальное предсказание, касающееся выпуска разных товаров потребления в четвертом квартале 1983-го года, который одновременно был и шестым кварталом Девятой Трехлетки. Сегодняшний номер содержал отчет о действительном выпуске, причем обнаруживалось, что официальное предсказание грубо ошибалось в каждом случае. Работа Уинстона состояла в том, чтобы выправить первые цифры и привести их в соответствие с более поздними. Что касается третьего донесения, то оно относилось к очень простой ошибке, которую можно было исправить в две минуты, совсем недавно, в феврале, Министерство Изобилия опубликовало обещание (или, на официальном языке, – «категорическое обязательство») не сокращать шоколадного пайка в 1984-ом году. Но на самом деле, как об этом уже знал Уинстон, в конце этой недели паек шоколада уменьшался с тридцати граммов до двадцати. Все, что нужно было сделать Уинстону – это заменить прежнее обещание предостережением, что, быть может, в апреле или около этого времени придется сократить паек.

Как только Уинстон кончал с сообщением, он прикреплял записанное диктографом исправление к соответствующему номеру Таймса и совал его в пневматическую трубку. Затем, почти бессознательным движением, он комкал оригинальное сообщение и все свои заметки и опускал то и другое в щель-напоминатель, предоставляя пламени пожарить их.

Он не знал в подробностях, что происходило в запутанном лабиринте, куда вели пневматические трубы, но общее представление у него все же имелось. После того как все поправки, которые приходилось вносить в тот или иной номер Таймса собирались вместе, они тщательно сверялись, весь номер перепечатывался, оригинал уничтожался, и его место в архиве занимала новая исправленная копия. Этот процесс непрерывной переделки касался не только газет, но и книг, журналов, брошюр, афиш, листовок, фильмов, звукозаписей, карикатур, фотографий – всех видов литературы и всех документов, которые могли иметь какое-либо политическое или

идеологическое значение. День за днем, почти даже минута за минутой прошлое приводилось в соответствие с настоящим. Таким образом, правильность каждого предсказания Партии могла быть доказана документально. Ни одно газетное сообщение, ни одно мнение, которые противоречили нуждам дня, не сохранялись. Вся история становилась палимпсестом, на котором старые записи выскабливались и за-менялись новыми всякий раз, когда это было необходимо. И ни в одном из этих случаев, – когда дело было уже сделано, – нельзя было доказать подлога. В самой большой секции Отдела Документации, значительно превосходившей ту, где работал Уинстон, служащие занимались только тем, что разыскивали и собирали все экземпляры книг, газет и других документов, которые считались отжившими и подлежали уничтожению. Номер Таймса, который в результате изменений политического курса или ошибочных пророчеств Старшего Брата перепечатывался чуть не десять раз, хранился до сих пор в архивах под первоначальной датой и не было ни одного другого экземпляра, чтобы опровергнуть его. То же самое и с книгами: их изымали, переписывали по несколько раз и обязательно переиздавали без каких бы то ни было указаний на сделанные изменения. Даже письменные инструкции, получаемые Уинстоном, от которых он всегда спешил отделаться тотчас же после их использования, никогда не говорили о подлоге и даже не намекали на его возможность: говорилось лишь об упущениях, ошибках, опечатках или искаженных цитатах, нуждавшихся в исправлениях в интересах точности.

Но на самом деле, – думал он, подгоняя цифры Министерства Изобилия, – на самом деле это далее и не подлог. Это просто замена одной бессмыслицы другою. Большинство тех материалов, которые приходилось обрабатывать, не имели ничего общего с действительностью, не имели даже и подобия сходства с действительностью, какое содержится в прямой лжи. Статистические данные в первоначальных версиях были так же фантастичны, как и в исправленных. В большинстве случаев от вас ожидали просто выдумки. Например, по предварительным подсчетам Министерства Изобилия выпуск сапог должен был достичь в квартале ста сорока пяти миллионов пар. Действительное производство составляло, по официальным данным, шестьдесят два миллиона. Переписывая цифры предсказания, Уинстон, однако, уменьшил их до пятидесяти семи миллионов, чтобы можно было утверждать, что план был перевыполнен. Но, при всех условиях, шестьдесят два миллиона были ничуть не ближе к истине, чем пятьдесят семь или даже сто сорок пять миллионов. Скорее всего никаких сапог вообще не было выпущено. И уж во всяком случае никто не знает подлинных цифр производства и даже не стремится их узнать. Известно было лишь, что в каждом квартале производилось на бумаге астрономическое количество сапог, в то время, как быть может половина жителей Океании ходила босиком. И так было со всеми документами, касающимися и важных вещей и мелочей. Все постепенно исчезало в призрачном мире, где в конце концов даже и даты теряли свою точность.

Уинстон посмотрел через коридор. В кабинке напротив маленький небритый педантичного вида человек по имени Тиллотсон усердно работал, положив на колени свернутую газету и прижав к самым губам трубку диктографа. У него было такое выражение, словно он старался скрыть от всех, о чем секретничает один-на-один с диктографом. Он поднял глаза, и его очки враждебно сверкнули в сторону Уинстона.

Уинстон едва знал Тиллотсона и не имел понятия о том, чем он занимается. Служащие Отдела Документации не любили говорить о своей работе. В длинном, без окон, коридоре с двумя рядами кабинок, с нескончаемым шелестом бумаг и гудением голосов, бормочущих что-то в диктографы, было, по крайней мере, человек двенадцать, не известных Уинстону даже по именам, хотя он и видел каждый день, как они пробежали по коридору или жестикулировали во время Двух Минут Ненависти. Он знал, что в соседней кабинке маленькая рыжеволосая женщина целыми днями занимается тем, что вылавливает в прессе и вычеркивает имена людей, которые были расплынены и поэтому рассматривались, как никогда не существовавшие. Занятие такого рода определенно подходило ей – муж этой женщины был расплынен

примерно года два тому назад. А еще несколькими кабинками дальше кроткое, мечтательное и инертное создание по имени Амплфорс, с очень волосатыми ушами и с поразительным талантом жонглировать рифмами и размерами, было занято изготовлением подтасованных вариантов или так называемых сверенных текстов стихов, которые стали неприемлемыми идеологически, но по тем или иным соображениям сохранялись в антологиях. И этот коридор с его, приблизительно, пятьюдесятью служащими был лишь одной подсекцией, одной ячейкой гигантского и сложного аппарата Отдела Документации. Внизу, вверху, по сторонам – всюду роились служащие, занятые такой разнообразной работой, какую трудно даже и вообразить. Тут были громадные типографии со своими редакторами, типографскими специалистами и со сложно-оборудованными ателье для подделки фотографий. Тут был сектор телепрограмм со своими инженерами и постановщиками и с целыми труппами актеров, специально подобранных за умение имитировать голоса. Была армия клерков, занятых только тем, что они составляли списки книг и журналов, подлежащих изъятию. Были громадные склады для хранения исправленных документов и тайные печи для уничтожения оригиналов. И, конечно, хотя и совершенно анонимный, был направляющий разум, координировавший все эти усилия и определявший генеральную линию, от которой зависело, что такие-то и такие-то фрагменты прошлого сохранялись, другие фальсифицировались, а третьи совершенно переставали существовать.

Но и Отдел Документации в конечном счете был только одной ветвью Министерства Правды, главная работа которого состояла не в реконструкции прошлого, а в том, чтобы снабжать граждан Океании газетами, фильмами, учебниками, программами передач по телескрину, пьесами, романами – словом, всеми видами информации, инструктажа и развлечений от статьи до лозунгов, от лирического стихотворения до биологического трактата и от букваря до словаря Новоречи. При этом Министерство должно было обслуживать не только разнообразные нужды Партии, но и повторять всю операцию на более низком уровне для нужд пролетариата. Был целый ряд самостоятельных секций, имевших дело с пролетарской литературой, музыкой, драмой и вообще с пролетарскими развлечениями. Там издавались сенсационные пятицентовые рассказы и дрянные газеты, не печатавшие почти ничего другого, кроме спорта, уголовной хроники и астрологии; там изготовлялись грязные сексуальные фильмы и сентиментальные песенки, сочинявшиеся исключительно механическим способом – с помощью особого калейдоскопа, известного под названием версификатора-автомата. Имелась также целая подсекция, которая на Новоречи называлась Порносек и была занята печатанием порнографических открыток самого низкого пошиба. Эти открытки рассылались в запечатанных конвертах, и ни один член Партии, за исключением тех, кто занимался их изготовлением, не имел права их видеть.

Пока Уинстон работал, еще три сообщения выскользнули из пневматической трубы, но это были мелкие вопросы, и Уинстон отделался от них до того, как работа была прервана Двумя Минутами Ненависти. Когда они истекли, он вернулся в кабинку, взял с полки словарь Новоречи, отодвинул в сторону диктограф, протер очки и приступил к главной части сегодняшней работы.

Работа была самым большим удовольствием в жизни Уинстона. Конечно, в большинстве она представляла собой надоедливую рутину, но среди этой рутины попадались иногда настолько трудные и запутанные дела, что в них можно было заблудиться, словно в глубине математической задачи – случаи тончайшего подлога, совершая который невозможно было руководствоваться ничем иным, кроме знания принципов Ангсоца и понимания того, что хочет сказать Партия. Уинстон обладал тем и другим. Поэтому ему временами доверялась переделка даже передовых статей Таймса, написанных целиком на Новоречи. Он развернул сообщение, отложенное раньше в сторону. Там стояло:

таймс 3.12.83. сообщение дневниказе сб двуцлюснехорошо ссылки нелюдей полнопереписать и верхпред доархиваниш.

На староречи (или на литературном английском) это значило:

Сообщение о Дневном Приказе Старшего Брата в Таймсе от 3-го декабря 1983-го года крайне неудовлетворительно и содержит ссылки на несуществующие лица. Переписать полностью и представить корректуру на высшее утверждение до отправки в архив.

Уинстон прочитал преступную статью. Было такое впечатление, что Дневной Приказ Старшего Брата посвящался, главным образом, восхвалению организации, известной под именем ПСПК. Она занималась тем, что снабжала моряков Плавающих Крепостей папиросами и некоторыми другими вещами, не входившими в число предметов первой необходимости. В приказе особенно выделялся некий товарищ Уитерс, видный член Внутренней Партии, и говорилось о награждении его орденом «За выдающиеся заслуги» 2-ой степени.

Три месяца спустя ПСПК было внезапно распущено без объяснения причин. Можно было предполагать, что Уитерс и его сотрудники находились теперь в опале, хотя ни в прессе, ни по телескрину на этот счет не говорилось ничего. Но этого и следовало ожидать, потому что политических преступников чрезвычайно редко отдавали под суд или обвиняли гласно. Большие чистки, захватывавшие тысячи людей и сопровождавшиеся показательными процессами изменников и преступников мысли, которые угодливо признавались в своих преступлениях и осуждались на смерть, – представляли собой особые зрелища; они устраивались не чаще, чем один раз в два-три года. Обычно люди, навлекавшие на себя недовольство Партии, попросту исчезали – так, что о них нельзя было услышать ничего. Никто не имел ни малейшего понятия о том, что с ними происходило. Возможно, что в отдельных случаях они даже оставались в живых. Не считая собственных родителей, Уинстон лично знал человек тридцать, пропавших в то или иное время таким образом.

Уинстон легонько провел по носу скрепой для бумаг. В кабинке напротив товарищ Тиллотсон по-прежнему сгибался с ужасно секретным видом над диктографом. На мгновение он поднял голову – снова враждебный блеск очков. Уинстона интересовало – не занимается ли товарищ Тиллотсон тем же, что и он. Очень возможно. Такую деликатную работу не доверили бы никогда одному человеку: но, с другой стороны, поручить ее целой комиссии – значит признать открыто факт фальсификации. Скорее всего, не меньше дюжины человек соревновались в этот миг в сочинении различных вариантов того, что было сказано на самом деле Старшим Братом. А затем кто-то из руководителей во Внутренней Партии должен будет выбрать ту или иную версию, отредактировать ее и пустить в ход всю сложную машину подбора необходимых справок, после чего выбранная этим руководителем ложь превратится в постоянный документ и станет правдой.

Уинстон не знал, что навлекло немилость на Уитерса. Быть может, продажность или неспособность к делу. Быть может, Старший Брат просто решил избавиться от слишком популярного подчиненного. Возможно и то, что Уитерс или кто-нибудь из близких к нему людей были заподозрены в еретических наклонностях. Или, наконец, – и это вероятнее всего, – причина состояла просто в том, что чистки, распыление людей являются необходимым элементом механизма управления. Единственным ключом к делу были слова – «ссылки на нелюдей», указывавшие на то, что Уитерс уже мертв. Арест не означает обязательно немедленную смерть. Иногда арестованных выпускают и позволяют оставаться на свободе год или два, прежде чем казнить. Очень часто человек, которого уже считают мертвым, много времени спустя, как призрак появляется на каком-нибудь показательном процессе и своими признаниями запутывает сотни других, прежде чем снова исчезнуть – на этот раз уже навсегда. Но Уитерс уже «нечеловек». Он не существовал, не существовал никогда. Уинстон решил, что недостаточно просто

видоизменить речь Старшего Брата. Лучше будет посвятить ее совершенно новой теме, никак не связанной с ее подлинным содержанием.

Можно было бы посвятить ее обычному обличению предателей и преступников мысли, но в этом случае подлог станет слишком очевидным, тогда как изобретение какой-нибудь победы на фронте или в борьбе за перевыполнение плана Девятой Трехлетки может чересчур усложнить документ. Нужна какая-то чистая выдумка. И вдруг ему явился, уже как бы в готовом виде, образ некоего товарища Огилви, погибшего недавно в битве при героических обстоятельствах. Случалось, что Старший Брат посвящал Дневной Приказ памяти какого-нибудь скромного рядового члена Партии, чья жизнь и смерть могли служить предметом подражания. Сегодня он должен посвятить ее памяти товарища Огилви. Не беда, что никакого товарища Огилви никогда в природе не существовало – несколько печатных строк и поддельных фотографий скоро вызовут его к жизни.

Уинстон подумал с минуту, потом потянул к себе диктограф и начал диктовать в привычном стиле Старшего Брата. Это был одновременно стиль военного и педанта, легко поддающийся имитации благодаря манере оратора задавать вопросы и тут же отвечать на них. («Какие уроки мы можем извлечь из этого факта, товарищи? Уроки эти суть – и это есть одновременно один из основных принципов АНГСОЦа»... и т. д. и т. п.)

Трех лет отроду товарищ Огилви отказался от всяких игрушек, кроме барабана, пулемета и модели вертолета. Шести лет – годом раньше срока и по специальному исключению из правила – он вступил в организацию Юных Шпионов, а в девять – командовал отрядом. В одиннадцать лет, подслушав разговор, в котором, как ему казалось, были преступные высказывания, он донес на своего дядю в Полицию Мысли. В семнадцатилетнем возрасте он стал районным организатором Антиполовой Лиги Молодежи. В девятнадцать он сконструировал гранату, принятую Министерством Мира; при первом опытном испытании одним взрывом этой гранаты был убит тридцать один евразийский пленный. Двадцати трех лет он погиб в бою. Летя над Индийским океаном с важным донесением и преследуемый вражескими истребителями, он привязал к телу пулемет и, вместе с донесением, бросился с вертолета в пучину, – конец, о котором, сказал Старший Брат, нельзя думать без зависти. В заключение Старший Брат добавлял несколько штрихов, говорящих о чистоте жизни товарища Огилви и его преданности делу. Он был абсолютным трезвенником, не курил, не позволял себе никаких развлечений, если не считать часа, который он ежедневно проводил в гимнастическом зале, и жил в обете безбрачия, полагая, что брак и заботы о семье несовместимы с постоянной преданностью долгу. У него не было других тем разговора, кроме принципов Ангсоца, и другой цели в жизни, кроме уничтожения евразийского врага и охоты на шпионов, саботажников, преступников мысли и всяких изменников вообще.

Уинстон немного поколебался, – не наградить ли товарища Огилви орденом «За выдающиеся заслуги», но в конце концов оставил эту мысль, решив, что это повлечет излишние справки.

Он снова взглянул на своего соперника в кабине напротив. Что-то определенно говорило ему, что Тиллотсон занят той же самой работой. Невозможно знать, чей вариант будет одобрен, но Уинстон почему-то был уверен, что примут его вариант. Товарищ Огилви, которого нельзя было бы представить час тому назад, стал теперь фактом. Его поразила своей странностью мысль, что можно выдумать мертвого человека, но нельзя сделать того же с живым. Огилви, который никогда не существовал в настоящем, теперь существовал в прошлом, а когда о подделке забудут, он будет существовать так же достоверно и с такой же определенностью, как Карл Великий или Юлий Цезарь.

V

Глубоко под землей, в буфете с низким потолком, очередь, выстроившаяся за обедом, медленно, толчками подвигалась вперед. В комнате, уже полной народу, стоял оглушительный шум. От гуляша, разогревавшегося на плите рядом со стойкой, растекался кислый, металлический запах, который не мог, однако, заглушить паров Джина Победы. В дальнем конце комнаты имелся небольшой бар или, лучше сказать, закуток, и там можно было купить джин по десяти центов за большую порцию.

– А вот и он, легок на помине! – раздался голос за спиной Уинстона.

Уинстон обернулся. Это был его друг Сайми, работавший в Отделе Исследований. Быть может, «друг» и не совсем верное слово. В теперешние времена не бывает друзей, а только товарищи, но общество одних из них приятнее, чем общество других. Сайми был филологом, специалистом в области Новоречи. Он входил в громадную коллегию экспертов, занятых составлением Одиннадцатого Издания словаря Новоречи. Это было крохотное существо, ростом ниже Уинстона, с черными волосами и с большими печальными и вместе с тем презрительно-насмешливыми глазами навывкате, которые словно обшаривали ваше лицо, когда их обладатель говорил с вами.

– Я хотел узнать, достал ли ты ножички для бритвы? – осведомился Сайми.

– Ни одного! – поспешил ответить Уинстон таким то-ном, словно он был виноват в этом. – Я облазил все. Их вообще больше не существует.

Все только и делали, что выпрашивали лезвия. На самом деле у Уинстона была припрятана пара новых ножичков. Уже несколько месяцев их не было в продаже. В распределителях для членов Партии всегда отсутствовал какой-нибудь предмет первой необходимости. То не было пуговиц, то штопки, то шнурков для ботинок; сейчас не было лезвий. Их можно было купить только из-под полы на «свободном» рынке.

– Я бреюсь одним и тем же ножичком шесть недель, – солгал Уинстон.

Очередь опять рывком подвинулась вперед. Когда она остановилась, Уинстон снова повернулся к Сайми. Из груды сальных металлических подносов, стоявших на краю прилавка, каждый взял себе по одному.

– Ты ходил вчера смотреть, как вешали пленных? – спросил Сайми.

– Я был занят, – ответил Уинстон безразлично. – Вероятно, я увижу казнь в кино.

– Весьма несовершенный суррогат, – заметил Сайми.

Его иронический взор блуждал по лицу Уинстона. «Я знаю тебя, – казалось говорил он. – Я вижу тебя насквозь и отлично понимаю, почему ты не пошел смотреть на эту казнь». Ядовитая партийность Сайми была чисто рассудочной. С отталкивающим злорадным наслаждением он мог говорить о налете вертолетов на вражеские деревни, о признаниях преступников мысли и о суде над ними, о казнях в подвалах Министерства Любви. Умение разговаривать с ним состояло главным образом в том, чтобы отвлекать его от этих тем и по возможности втягивать в беседы о Новоречи, о которой он умел со знанием дела и интересно говорить. Уинстон слегка отвернулся, чтобы избежать испытующего взгляда больших черных глаз.

– Хорошо вешали, – вспомнил Сайми. – Только, по- моему, дело портят тем, что связывают им ноги. Я люблю смотреть, как они дрыгаются. А как у них в конце вываливаются языки! Совершенно синие языки! Мне нравится эта деталь.

– Следующий, пожалуйста! – крикнула особа в белом фартуке и с половником в руках.

Уинстон и Сайми подставили свои подносы к плите. На каждый из них быстро шлепнулся полагающийся обед: розовато-серый гуляш в металлических мисках, ломоть хлеба, кубик сыру, кружка Кофе Победа без молока и таблетка са-харину.

– Вот там под телескрином есть столик, – сказал Сайми. – Давай прихватим по дороге джину.

Им дали джин в толстых фарфоровых кружках без ручек. Они протиснулись сквозь толпу к своему месту и разгрузили содержимое подносов на железный стол, на котором кто-то оставил лужицу гуляша – грязную жидкую болтушку, напоминавшую блевотину. Уинстон поднял свою кружку с джином, остановился на мгновение, чтобы собраться с духом, и проглотил отдававшую сивухой жидкость. Когда слезы перестали застилать глаза, он вдруг обнаружил, что проголодался. Он принялся глотать полными ложками гуляш, в котором среди общей жидкой массы попадались иногда кусочки губчатой розоватой ткани, напоминавшей мясо. Оба молчали до тех пор, пока не опорожнили своих мисок. За столом, налево от Уинстона и немного позади него, непрерывно раздавалось чье-то быстрое, резкое, но неразборчивое бормотанье. Было такое впечатление, словно, перекрывая общий гул, стоявший в комнате, где-то крикает утка.

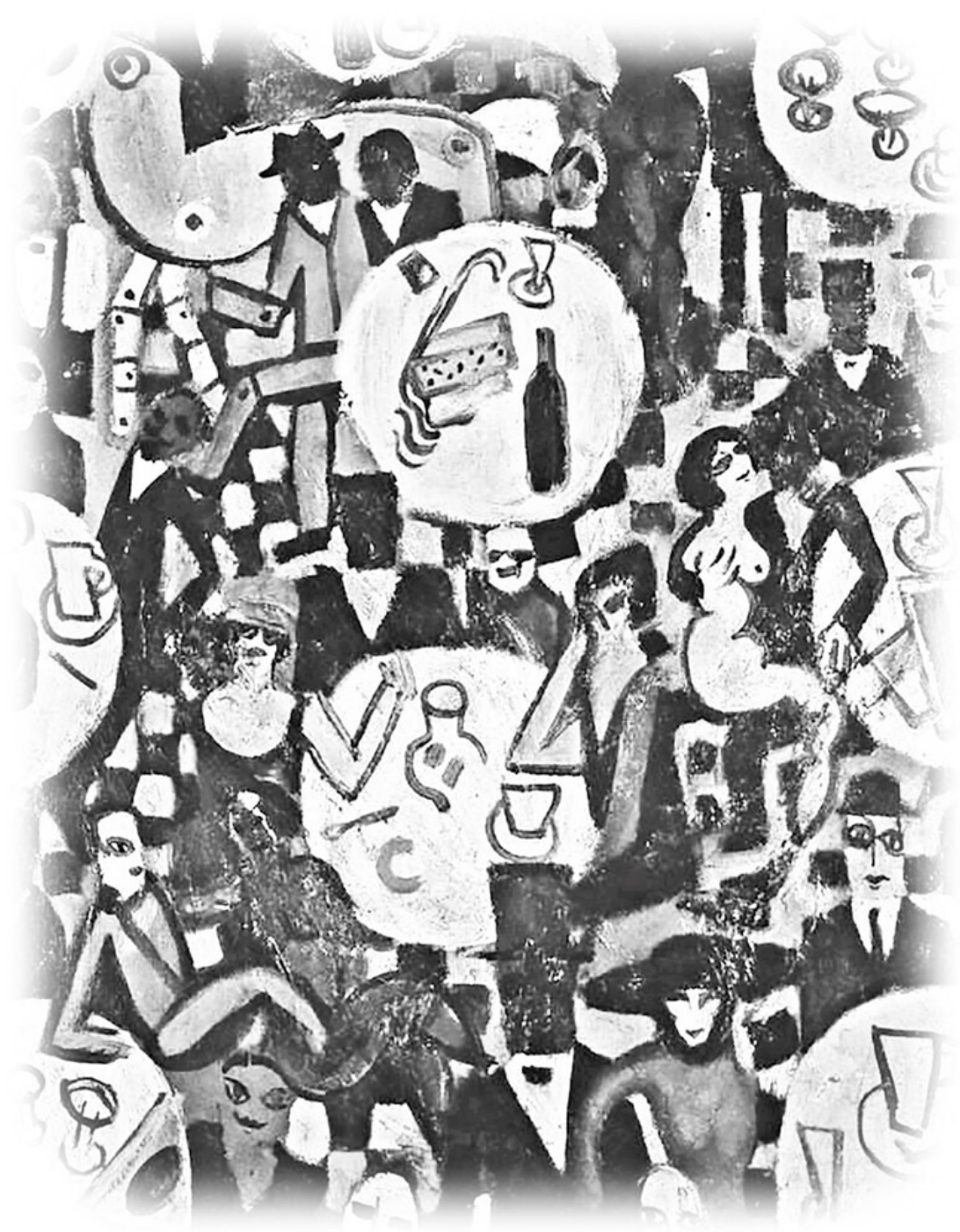
– Как подвигается словарь? – спросил Уинстон, повышая голос, чтобы Сайми мог его услышать.

– Медленно, – ответил Сайми. – Я сейчас на прилагательных. До чего же это увлекательно!

При упоминании о Новоречии он моментально загорелся. Он отодвинул миску в сторону, взял в одну из своих изящных рук ломоть хлеба, а в другую сыр и перегнулся через стол, чтобы можно было говорить без крика.

– Одиннадцатое Издание будет нашим последним словом, – сказал он. – Мы приводим язык к его окончательной форме, к той форме, в которую он выльется, когда никто не будет говорить ни на каком другом языке. Когда мы кончим с этим, людям вроде тебя придется снова начинать с азов. Ты, по-моему, считаешь, что наша главная работа состоит в изобретении новых слов. Ничего подобного! Мы уничтожаем слова, множество слов – сотни каждый день! Мы урезаем язык до костяка. Одиннадцатое Издание не будет содержать в себе ни одного слова, которое может устареть до 2050-го года.

Он жадно откусил и проглотил несколько кусков черного хлеба и снова со страстью педанта принялся говорить. Его тонкое темное лицо оживилось, глаза потеряли саркастическое выражение и стали почти мечтательными.



Сцена в кабаре

– Прекрасная это вещь – уничтожение слов! Конечно, больше всего бесполезных слов среди глаголов и прилагательных, но легко можно избавиться и от сотен существительных. И не только от синонимов, а и от антонимов тоже. В конце концов, чем можно оправдать существование слова, которое лишь противоположно другим словам? Слово содержит свою противоположность в самом себе. Возьми, например, «хорошо». Если есть такое слово, то зачем нужно еще «плохо»? «Нехорошо» ничуть не хуже, даже лучше, потому, что оно прямо противоположно, чего нельзя сказать о «плохо». Или, если нужно, например, дать более сильную степень «хорошо», то какой смысл в целом ряде бесполезных и туманных слов, вроде «превосходно», «великолепно» и тому подобное? «Плюсхорошо» покрывает все значение или «двуп-

люсхорошо», если ты желаешь дать что-нибудь посильнее. Конечно, мы уже пользуемся этими формами, но в последнем варианте Новоречи кроме них не будет никаких иных. Все понятие хорошеи и плохости будет, в конце концов, покрываться всего шестью словами, а лучше сказать – одним. Чувствуешь ты прелесть этого, Уинстон? Разумеется, идея эта принадлежала С. Б. – спохватился он после короткой паузы.

Что-то вроде вялого порыва промелькнуло на лице Уинстона при упоминании о Старшем Брате. Но Сайми тотчас же обнаружил недостаток воодушевления в собеседнике.

– Ты не ценишь Новоречи по-настоящему, Уинстон, – заметил он почти печально. – Даже когда ты пишешь, ты продолжаешь думать на Староречи. Я читал кое-что из того, что ты помещаешь иногда в Таймсе. Неплохо написано, но все-таки это – переводы. В глубине души ты предпочитаешь Староречь со всей ее туманностью и бесполезными оттенками значений. Тебя не захватывает прелесть уничтожения слов. Известно ли тебе, что Новоречь – единственный язык в мире, словарь которого с-каждым годом уменьшается?

Конечно, Уинстон это знал. Но, не полагаясь на себя, он промолчал и только (как ему казалось) сочувственно улыбнулся. Сайми снова откусил кусочек черного хлеба, быстро прожевал и продолжал:

– Разве ты не понимаешь, что все назначение Новоречи состоит в том, чтобы сузить границы мысли? В конце концов, мы сделаем преступление мысли буквально невозможным, потому что не останется слов для его выражения. Каждое необходимое понятие будет выражаться одним, и только одним словом с совершенно определенным значением, а все побочные понятия сотрутся и забудутся. Мы недалеко от этого уже и в Одиннадцатом Издании. Но процесс будет продолжаться еще долго после нашей с тобой смерти. С каждым годом все меньше и меньше слов и все уже и уже границы сознания. Конечно, даже и теперь нет ни причин, ни оправдания для преступления мысли. Просто это вопрос самодисциплины и контроля реальности. Но в конечном счете отпадет нужда даже и в них. Революция будет завершена, когда язык станет совершенным. Новоречь – это Ангсоц, а Ангсоц – это Новоречь, – добавил он с каким-то мистическим удовлетворением. – Приходило ли тебе когда-нибудь на ум, Уинстон, что к 2050-му году, самое позднее, не останется в живых ни одного человека, способного понять разговор, который мы сейчас ведем?

– За исключением... – начал было Уинстон с сомнением и тут же остановился.

На языке вертелось замечание – «за исключением про- лов», но он сдержал себя, не будучи вполне уверен, что это замечание в какой-то мере не является антипартийным. Однако, Сайми угадал, что он хотел сказать.

– Пролы не люди, – заметил он небрежно. – К 2050-му году, а быть может даже раньше, никто уже не будет владеть по-настоящему Староречью. Вся литература прошлого уничтожится. Чоусер, Шекспир, Мильтон, Байрон будут существовать лишь в переводах на Новоречь, превратившись не только во что-то отличное, но и в противоположное тому, чем они были. Даже партийная литература изменится. Даже лозунги будут не те. Как может существовать лозунг «Свобода – это рабство», когда самое понятие свободы упразднится? Весь образ мышления станет иным. В действительности мышления, как мы понимаем его теперь, *не будет*. Верность принципам Партии означает отсутствие мышления, отсутствие потребности в мысли. Верность – это бессознательность.

А все-таки, – подумал Уинстон внезапно и с глубоким убеждением, – все-таки в один прекрасный день Сайми распылят. Он слишком умен. Он слишком ясно видит и слишком откровенно говорит. Партия не любит таких людей. И однажды он исчезнет. Это написано у него на лбу.

Уинстон доел хлеб и сыр. Он слегка отодвинулся и взялся за кружку с кофе. За столом налево человек со скрипучим голосом все еще ожесточенно говорил. Молодая женщина, быть может, его секретарша, восторженно соглашалась со всем. Время от времени Уинстон улавли-

вал реплики, вроде – «я думаю, вы *совершенно* правы», «я *совершенно* согласна с вами» – проносимые молодым и довольно-таки глупым женским голосом. Но другой голос не умолкал ни на минуту, даже когда говорила девушка. Уинстон встречал этого человека, но знал о нем лишь то, что тот занимает какой-то важный пост в Отделе Беллетристики. Это был Мужчина лет тридцати с мускулистой глоткой и с большим подвижным ртом. Его голова была слегка откинута назад, и сидел он под таким углом, что свет падал ему на очки, отчего Уинстон видел вместо глаз два пустых диска. Слегка страшило еще то, что в потоке слов, изливавшихся из его уст, почти невозможно было различить ни одного отдельного слова. Только раз Уинстон поймал фразу «полное и окончательное уничтожение гольдштейнизма», брошенную очень быстро, одним духом, как отливается без шпонов типографская строка. Для всех остальных его речь была просто шумом, кряканьем. И все же, хотя невозможно было уловить, что говорил этот человек, его естество не оставляло в общем никаких сомнений. Обвинял ли он Гольдштейна и предлагал усилить меры против саботажников и преступников мысли, громил ли жестокости Евразийской армии, восхвалял ли Старшего Брата и героев Малабарского фронта, – все равно, можно было быть уверенным, что каждое его слово было чистой партийностью, чистым Ангсоцем. Наблюдая безглазое лицо, на котором только челюсть быстро двигалась то вниз, то вверх, Уинстон испытывал курьезное чувство, будто перед ним не настоящий человек, а манекен. Это говорил не разум человека, – говорила гортань. Чепуха, исходившая из нее, состояла из слов, но она не была речью в подлинном смысле: это был шум, издаваемый подсознанием и подобный кряканью утки.

Сайми на мгновение погрузился в молчание, разрисовывая ложкой узоры в лужице гуляша. Кряканье за другим столом все продолжалось, выделяясь в окружающем шуме.

– Есть на Новоречи слово, – сказал Сайми, – не знаю, известно ли оно тебе, – *уткомолвить*, то есть крякать по-утиному. Это одно из тех занятных слов, которые имеют два противоположных значения. При обращении к оппоненту, это – оскорбление, при обращении к тому, с кем ты согласен, – похвала.

Определенно, Сайми расплыт, – подумал снова Уинстон. Он подумал об этом с оттенком печали, хотя хорошо знал, что Сайми пренебрегает им и слегка недолюбливает, что он вполне способен обвинить его в преступлении мысли, если будет иметь основания на то. Был какой-то едва уловимый изъян в Сайми. Чего-то ему недоставало: сдержанности, скрытости, чего-то вроде спасительной глупости. Нельзя сказать, что он уклонист. Нет, он верит в принципы Ангсоца, он благоговеет перед Старшим Братом, он радуется победам, ненавидит еретиков не только искренне, но с какой-то ненасытной яростью и именно тех еретиков, которых надо ненавидеть по последним сведениям, недоступным рядовому члену Партии. И тем не менее, его верность Партии вызывает какие-то сомнения. Он говорит вещи, которых лучше было бы не говорить, он читает слишком много книг, он является завсегдатаем кафе «Под каштаном» – излюбленного места художников и музыкантов. Не существует даже неписанного закона, запрещающего бывать в кафе «Под каштаном», однако, в этом имени есть нечто зловещее. Старые, дискредитированные вожди Партии любили собираться в этом кафе до того, как были окончательно вычищены. Рассказывали, что десятки лет тому назад там видели иногда и самого Гольдштейна. Нетрудно угадать судьбу Сайми. И все же несомненно: сумей Сайми уловить хоть на три секунды тайные помыслы Уинстона, он в ту же минуту предаст его Полиции Мысли. Это может сделать на его месте любой, но Сайми – скорее, чем большинство других. На одном рвении далеко не уедешь. Партийность требует кроме того и бессознательности.

Сайми поднял глаза.

– Вот идет Парсонс, – сказал он.

И что-то в тоне его голоса словно добавляло – «этот убийственный дурак». И, действительно; сосед Уинстона по Особняку Победы, Парсонс, прокладывал себе путь через комнату. Это был бочкообразный среднего роста человек с белокурыми волосами и лягушачьим лицом.

В тридцать пять лет он уже успел нажать себе жирок в талии и на шее, но движения его были юношески проворными. Да и весь он так

походил на парня-переростка, что несмотря на форменный комбинезон, его почти нельзя было представить иначе, как в синих трусиках, в серой рубашке, с красным шейным платком Юных Шпионов. При мысли о нем невольно рисовались голые колени в ямочках и засученные до локтей рукава на полных руках. И на самом деле Парсонс неизменно старался обрядиться в трусики, когда какая-нибудь массовая вылазка или другое физкультурное мероприятие позволяли это сделать. Он приветствовал Уинстона и Сайми веселым «Алло, алло!» и, обдавая их острым запахом пота, присел к столу. По всему его румянному лицу выступал бисер влаги. Он отличался необычайной потливостью. В Общественном Центре только потому, как намочали рукоятки ракеток, можно было в любой момент сказать, когда Парсонс играл в пинг-понг.

Сайми извлек полоску бумаги с длинной колонкой слов и, держа в руках чернильный карандаш, погрузился в их изучение.

– Полюбуйтесь, как он трудится во время обеда, – сказал Парсонс, толкая под бок Уинстона. – Вот работяга! Что это у вас там, старина? Наверно, что-нибудь слишком мудреное для меня? Смит, дружище, сказать вам, почему я гоняюсь за вами? Это насчет подписки, про которую вы, верно, забыли.

– Какой именно подписки? – спросил Уинстон, автоматически шаря по карманам. Примерно четверть жалования уходила на пожертвования, число которых было так велико, что упомянуть все их было трудно.

– На Неделю Ненависти. Помните – сбор по квартирам. Я казначей в нашем квартале. Мы из кожи лезем вон, чтобы не осрамиться. И поверьте мне – не Парсонс я буду, если на наших с вами Особняках Победы не будут красоваться лучшие на всю улицу флаги. Вы обещали два доллара.

Уинстон отыскал и протянул две смятых и грязных бумажки, которые Парсонс заприходовал в маленьком блокноте аккуратным почерком малограмотного.

– Кстати, дружище, – сказал он. – Я слышал, что мой разбойник стрелял вчера в вас из рогатки. Я задал ему за это хорошую порку и сказал, что если это повторится, я отберу рогатку.

– Мне кажется, его расстроило немного то, что он не попал на казнь, – заметил Уинстон.

– Ну, ясно! Что ни говори, а у мальчишки здоровые взгляды, а? Разбойники они оба, а какие смышленные! Только и мыслей – о войне да о Юных Шпионах. Знаете, что выкинула моя меньшая в прошлую субботу, когда ходила на экскурсию с отрядом за Берхампшtedскую дорогу? Подговорила двух других девчонок, удрала с ними с экскурсии и полдня выслеживала какого-то человека. Целых два часа топала за ним по лесу, а когда дошли до Амерсхама, сообщили о нем в полицию.

– Почему? – спросил с недоумением Уинстон.

Парсонс торжествующе продолжал:

– Дочка решила, видите ли, что он – вражеский агент, быть может, сброшенный на парашюте. Но вот попробуйте – ка догадаться, старина, почему она так уцепилась за него? Она, знаете, заметила на нем какие-то странные ботинки, которых ни на ком раньше не видывала. Поэтому, дескать, он мог оказаться иностранцем! Довольно проникательно для семилетнего клопа, а?

– А что же случилось с тем мужчиной? – осведомился Уинстон.

– Ну уж этого я, разумеется, не знаю. Но ничуть не удивлюсь, если его того... – Парсонс прицелился в воздух и прищелкнул языком, подражая звуку выстрела.

– Здорово! – неопределенно отозвался Сайми, не поднимая от бумаги глаз.

– Конечно, мы должны быть бдительными, – послушно согласился Уинстон.

– Ясное дело – война! – добавил Парсонс.

Словно в подтверждение его слов, из телескрина, прямо над их головами, раздался звук трубы. Но на этот раз он возвещал не военную победу, а всего лишь объявление Министерства Изобилия.

– Товарищи! – прокричал энергичный молодой голос, – Товарищи, внимание! Передаем сообщение, которым вы вправе гордиться. Мы выиграли битву за продукцию! Только что законченный официальный отчет о выпуске всех видов товаров потребления показывает, что, в сравнении с прошлым годом, уровень жизни поднялся не меньше, чем на двадцать процентов. По всей Океании сегодня утром происходили мощные стихийные демонстрации. Рабочие и служащие вышли с фабрик и из учреждений и со знаменами в руках шествовали по улицам, выражая благодарность Старшему Брату за его мудрое руководство, которому мы обязаны своей счастливой жизнью. Вот некоторые полные данные. Продукты питания...

Слова «наша новая счастливая жизнь» повторялись то и дело. За последнее время они стали любимым изречением Министерства Изобилия. Парсонс, с той минуты, как звук трубы завладел его вниманием, сидел разинув рот, с торжественным и вместе с тем каким-то скучно-просветленным выражением лица. Он не разбирался в цифрах, но чувствовал, что в них есть что-то приятное. Он вытащил огромную, уже наполовину выкуренную трубку. Получая сто грамм табаку в неделю, он редко мог набить ее доверху. Уинстон курил сигарету «Победа», осторожно держа ее в горизонтальном положении. Следующий паек начнут выдавать только завтра, а у него осталось лишь четыре сигареты. На мгновение он отвлекся от постороннего шума и прислушался к чепухе, которая лилась из телескрина. Из нее явствовало, что демонстранты благодарили Старшего Брата даже за увеличение шоколадного пайка до двадцати грамм. А ведь не дальше, как вчера, – подумал он, – было объявлено о том, что паек снижается до двадцати грамм в неделю. Неужели можно было проглотить эту пилюлю всего через одни сутки? Да, они проглотили ее! Парсонс проглотил ее легко, с тупостью животного. Безглазое существо за соседним столиком проглотило фанатично, со страстью, с неистовым желанием выследить, обвинить и распылить всякого, кто способен предположить, что на прошлой неделе паек равнялся тридцати граммам. Сайми, хотя и более сложным путем, путем двоемыслия, все-таки тоже проглотил. Значит, только он, один он помнил?..

Телескрин продолжал изливать мифическую статистику. По сравнению с прошлым годом, теперь было больше продуктов питания, больше одежды, больше жилищ, больше мебели, больше кухонной посуды, больше горючего, больше кораблей, больше вертолетов, больше книг, больше детей – всего больше, чем в прошлом году, за исключением болезней, преступлений и сумасшествий. Год за годом и минута за минутой все со свистом взлетало вверх. Подобно тому, как это делал раньше Сайми, Уинстон взял ложку и принялся размазывать в узор длинную полоску бесцветной подливки, разлитой по столу. С чувством досады он размышлял о материальной стороне жизни. Всегда ли она была такой? Всегда ли люди питались так скверно? Он обвел взглядом буфет. Переполненная людьми комната с низким потолком, грязные от прикосновения бесчисленных тел стены, покореженные железные столы и стулья, поставленные так тесно, что, сидя за ними, люди касались друг друга локтями, погнутые ложки, подносы со вмятинами, грубые белые кружки, все сальное, в каждой щели грязь и, вдобавок ко всему – этот кисловатый смешанный запах скверного джина, скверного кофе, грязной одежды и Гуляша. Ваш желудок и кожа вечно протестовали, всегда было такое чувство, что вы обмануты в каких-то ваших законных правах. Правда, он не мог припомнить ничего сколько-нибудь иного. Во все времена, которые он хорошо помнил, было то же самое: всегда не хватало пищи, всегда носки и нижнее белье были в дырах, мебель всегда была шаткой и поломанной, комнаты недостаточно натоплены, поезда метро переполнены, дома разваливались, хлеб всегда был темный, чай был редкостью, кофе – отвратительного вкуса, сигарет не хватало и никогда ничего не было дешевого и в достаточном количестве, кроме синтетического джина. И хотя, конечно, чем старше вы становитесь, тем труднее это было переносить, однако не указывало

ли на противоестественность этого порядка вещей то, что все страдали от лишений и забот, от грязи и холода, от липких носок, от лифтов, которые никогда не работали, от холодной воды, от грубого мыла, от сигарет, из которых высыпался табак, от пищи, имевшей всегда столь странный вкус? И почему это чувствовалось, как нечто нестерпимое, когда в вас просыпались наследственные воспоминания о том, что в свое время дела обстояли иначе?

Он опять окинул взором буфет. Почти все выглядели безобразно и, если бы вместо форменных комбинезонов были одеты во что-нибудь другое, все равно выглядели бы не лучше. В дальнем конце комнаты маленький, удивительно похожий на жучка человек, сидя в одиночестве, отхлебывал из чашки кофе, в то время как его крохотные глазки с острой подозрительностью метались по сторонам. Как легко, – думал Уинстон, – если вы не присматриваетесь к окружающему, – поверить в то, что физический тип, выдвигаемый Партией в качестве идеала, – рослый мускулистый юноша и девушка с крепкой грудью, оба белокурые, живые, загоревшие и беззаботные, – что этот тип действительно существует и даже преобладает. На самом же деле, насколько мог судить Уинстон, большинство жителей Первой Полосы были низкорослыми, черноволосыми и некрасивыми людьми. Занятно, что этот жукообразный тип особенно плодился в Министерствах: невысокие, коренастые мужчины, начинавшие очень рано полнеть, с короткими ногами, с торопливыми движениями, с жирными непроницаемыми лицами и с очень маленькими глазками. Казалось, что именно этот тип особенно преуспевает под господством Партии.

Сообщение Министерства Изобилия закончилось под новый звук трубы и сменилось какой-то дребезжащей музыкой. Парсонс, которого бомбардировка цифрами привела в состояние смутного восторга, вытащил трубку изо рта.

– В этом году Министерство Изобилия определенно проделало большую работу, – сказал он, встряхивая головою с видом знатока. – Кстати, Смит, старина, у вас, конечно, не найдется бритвенных лезвий для меня?

– Ни одного, – ответил Уинстон. – Я сам бреюсь одним и тем же шесть недель.

– Ну, ясно. Я просто так решил спросить, старина.

– Очень сожалею, – добавил Уинстон.

Голос за соседним столиком, замолчавший было во время сообщения Министерства Изобилия, опять закричал так же громко, как и прежде. Уинстон почему-то вдруг поймал себя на том, что думает о госпоже Парсонс с ее прямыми прядями волос и пыльным морщинистым лицом. Не далее, чем через два года дети донесут на нее в Полицию Мысли. Госпожу Парсонс распылят. Сайми распылят. Уинстона распылят, О'Брайена распылят. Но зато Парсонса никогда не распылят. Маленьких жукообразных человечков, которые так проворно носятся по лабиринту коридоров Министерства, тоже никогда не распылят. И брюнетку из Отдела Беллетристики никогда не распылят. Казалось, он чутьем угадывал, кто выживет и кто погибнет, хотя и не легко было сказать, что именно позволит людям выжить.

В это мгновение его вывел из задумчивости резкий толчек. Девушка за соседним столиком слегка повернулась и смотрела на него. Эта была та самая – черноволосая! Она смотрела на него как бы украдкой, но странно-внимательно. Встретившись с ним глазами, она тотчас же отвела свои.

Пот выступил по всему телу Уинстона. Мучительная боль, боль страха пронизала его. Она исчезла почти моментально, оставив какую-то изводящую тревогу. Почему она следит за ним? Почему она преследует его? Как на несчастье, он не мог припомнить, сидела она уже за столиком, когда он пришел, или явилась позже. Но вчера, во время Двух Минут Ненависти, она определенно уселась прямо позади него, когда в этом не было никакой необходимости.

Очень может быть, что она подслушивала и старалась проверить, достаточно ли громко он кричит.

Опять он подумал, что она, быть может, и не настоящая агентка Полиции Мысли, но в таком случае обязательно шпионка-любительница, то есть самая опасная из шпионок. Он не знал, долго ли она смотрела на него; возможно, минут пять, и возможно, что выражение его лица недостаточно контролировалось в это время. Ужасно опасно предаваться размышлениям в общественном месте или в поле зрения телескрин. Любая мелочь может вас выдать: нервный тик, бессознательно озабоченный взгляд, привычка бормотать что-нибудь себе под нос – все, что содержит намек на необычность или походит на попытку что-то утаить. Во всяком случае, неподобающее выражение лица (например, выражение недоверия во время сообщения о победе) само по себе есть наказуемый проступок. На Новоречи для него есть даже специальное слово: *лицепреступление*.

Девушка опять сидела, отвернувшись от него. В конце концов, можно допустить, что она и не следит за ним, а просто случайно оказывается бок о бок с ним два дня подряд. Его сигарета потухла, и он осторожно положил ее на край стола. Если удастся сохранить табак, он докурит ее после работы. Очень может быть, что человек за соседним столиком – агент Полиции Мысли, очень может быть, что в ближайшие три дня он, Уинстон Смит, очутится в подвалах Министерства Любви, но окурочек надо сохранить. Сайми свернул свою полоску бумаги и сунул ее в карман. Парсонс опять заговорил.

– Я вам не рассказывал, старина, – хихикнул он, держа трубку в зубах, – как мои клопы подожгли юбку у торговки на базаре, когда увидели, что она заворачивает сосиски в плакат с изображением С. Б.? Нет, не рассказывал? Подкрались сзади, да и чиркнули спичку. Подпалили ее, кажется, изрядно. Ничего, что малыши, а едкие, как горчица! Отличную подготовку им дают теперь в Юных Шпионах, лучше даже, чем в мои дни. Знаете, что они получили там последний раз? Трубки для подслушивания через замочные скважины! Дочка принесла на следующий вечер одну трубку домой, пробовала подслушивать в гостиной и нашла, что слышит вдвое лучше, чем когда просто прикладывает ухо к скважине. Знаю, знаю, что вы думаете! Вы, конечно, скажете, что это просто-напросто игрушка. А все-таки разве она их не наставляет на путь истинный?

В этот миг телескрин издал пронзительный свист. Это был сигнал возвращения на работу. Все трое мужчин вскочили, спеша принять участие в битве за лифт, и остаток табаку высыпался из сигареты Уинстона.

VI

Уинстон писал в дневнике:

Это было три года тому назад. Было темным вечером на одной из узких улиц неподалеку от большого вокзала. Она стояла у подъезда под уличным фонарем, который едва светил. У нее было молодое, очень густо накрашенное лицо. Именно белизна этого лица, походившего на маску, и ярко красные губы и привлекли меня. Партийки никогда не красятся. В переулке, кроме нас, не было никого, и не виделось телескрин. Она сказала – два доллара. Я...

Как трудно было продолжать! Он закрыл глаза и прижал к ним пальцы, стараясь погасить вновь и вновь возникавшее видение. Его охватывал непреодолимый соблазн – прокричать во весь голос длинное непристойное ругательство или биться головой об стенку, опрокинуть стол, швырнуть чернильницу в окно, буйствовать, шуметь, причинять боль, – сделать что-то такое, что заставило бы померкнуть терзавшее его воспоминание.

Злейший ваш враг, – думал он, – ваша собственная нервная система. В любой момент внутреннее напряжение может проявиться в видимых симптомах. Он подумал о человеке, повстречавшемся ему на улице несколько недель

тому назад: совершенно простой человек, член Партии, тридцати пяти или сорока лет, довольно высокий и худой с портфелем в руках. Их разделяло несколько метров, когда что-то вроде судороги внезапно исказило левую сторону лица мужчины. Это повторилось снова, когда они сошлись – подергивание, трепет, быстрый, как щелчок затвора фотоаппарата и явно привычный. Помнится, он тогда подумал: этот несчастный обречен. Страшно было то, что происходило это, видимо, бессознательно. Смертельно опасно говорить во сне. Но, как он убедился, ничем нельзя предохранить себя от этого.

Он вздохнул и продолжал:

Через подъезд и через двор мы прошли с нею в кухню, находившуюся в подвале. Там при слабом свете лампы, стоявшей на столе, я увидел у стены кровать. Женщина...

Уинстона покорило. Хотелось плевать. Вместе с этой женщиной из подвала, он вспомнил о своей жене Катерине. Он женат или, по крайней мере, был женат, а может быть, женат и до сих пор, потому что, насколько ему известно, его жена еще жива. Казалось он опять дышит теплым спертым воздухом подвала с его смешанным запахом клопов, грязной одежды и дешевых духов, отвратительных и в то же время завлекающих, потому что женщины-партийки никогда не душились, их даже нельзя было себе представить надушенными. Только пролетарки пользовались духами. В представлении Уинстона запах духов неразрывно связывался с прелюбодением.

Когда он пошел за этой женщиной, это было его первое грехопадение приблизительно за два года. Общение с проститутками, конечно, воспрещалось, но правило относилось к числу тех, которые порой и можно было отважиться нарушить. Это было опасно, но не угрожало смертью. За то, что вас поймали с проституткой, вам могли дать пять лет концентрационных лагерей, не больше. Не так много, но – это лишь в том случае, если вас не изловили во время самого акта. Кварталы бедноты кишели женщинами, готовыми продать себя. Иных можно было купить даже за бутылку запрещенного для пролов джина. Партия молчаливо даже подстрекала проституцию, как отдушину для инстинктов, которые нельзя было подавить. Разврат не угрожал вообще ничем, если он был тайным, безлюбовным и если жертвами являлись женщины самого низкого и презираемого класса. Беспощадно каралось лишь сожителство членов Партии. Но хотя это и было одним из тех преступлений, в котором неизменно каялись жертвы больших чисток, все же трудно верилось, что такие вещи действительно случались.

Цель Партии состояла в том, чтобы просто помешать мужчинам и женщинам связывать себя узами взаимной верности, трудно поддающейся контролю. Ее подлинная, тайная цель заключалась в том, чтобы устранить из полового акта всякое наслаждение. Не столько любовь, сколько эротика была врагом, как в браке, так и при внебрачном сожителстве. Все браки между членами Партии подлежали утверждению особого комитета, причем, – хотя этот принцип никогда и не был ясно декларирован, – в разрешении всегда отказывали, если пара производила впечатление людей, физически привлекательных друг для друга. Единственной признанной целью брака было воспроизведение потомства, призванного служить Партии. Половое общение должно было рассматриваться лишь как небольшая неприятная операция, вроде клизмы. Но и это никогда не облекалось в простые и ясные слова, а лишь косвенным путем с детства вдалбливалось в каждого члена Партии. Имелись даже специальные организации, вроде Юношеской Антиполовой Лиги, проповедовавшие обет безбрачия для обоих полов. В этом случае зачатие детей должно было производиться с помощью искусственного оплодотворения (и с коп на Новоречи), а дети – воспитываться обществом. По мнению Уинстона, это не имело серьезного значения, хотя и отвечало как-то генеральной линии Партии. Партия стремилась убить половой инстинкт, если же убить не удавалось, то, по крайней мере, очернить его и представить в извращенном виде. Уинстон не знал почему, но это казалось естественным для

Партии. По отношению к женщинам ее усилия в большинстве случаев были более успешными, чем в отношении мужчин.

Он вернулся к мысли о Катерине. Прошло, вероятно, уже десять или даже около одиннадцати лет с тех пор, как они разошлись. Удивительно, как редко думал он о ней! Иногда он совершенно забывал, что когда-то был женат. Они жили всего около пятнадцати месяцев. Партия не разрешала разводов, но в тех случаях, когда не было детей, даже поощряла раздельное жительство супругов.

Катерина была высокая, очень стройная белокурая девушка с прекрасными движениями. У нее было смелое лицо с правильными чертами, которое могло казаться аристократическим до тех пор, пока не обнаруживалось, что за этим лицом не скрывается решительно ничего. Быть может потому, что он был к ней гораздо ближе, чем к большинству других людей, но в первые же дни их брака он убедился, что более пустого, глупого и пошлого создания он никогда в жизни не встречал. В голове у нее не было ничего, кроме лозунгов, и не существовало такой глупости, – решительно ни одной, – которую она не проглотила бы, если эту глупость ей подсовывала Партия. «Ходячий граммофон» – мысленно окрестил он ее. И все-таки он мог бы кое-как ужиться с нею, если бы не одна вещь – пол.

Как только он касался ее, она вся словно содрогалась и каменела. Обнимать ее – было то же самое, что обнимать деревянного идола. Удивительно, что даже, когда она прижимала его к себе, у него было такое чувство, словно в то же время она и отталкивает его изо всех сил: так неэластичны были ее мускулы. Она могла лежать с закрытыми глазами, не сопротивляясь и не содействуя, а покоряясь. Сначала это необыкновенно стесняло его, а потом стало просто ужасать. Но даже и при этом он готов был оставаться с нею, если бы она согласилась воздержаться от общения. Любопытно, однако, что именно Катерина отказывалась от воздержания. Если можно, – говорила она, – они должны дать жизнь ребенку. Поэтому их связь продолжалась, раз в неделю, регулярно, исключая те дни, когда это было невозможно. Катерина имела даже обыкновение напоминать ему об этом по утрам, как о чем-то таком, чего не следовало забыть сделать вечером. У нее были два выражения для этого. Первое – «делать ребеночка» и другое – «наш долг перед Партией» (да, да, она так именно и говорила!). Довольно скоро он положительно стал испытывать страх, когда назначенный день приближался. К счастью, ребенка не появилось, и в конце концов она согласилась отказаться от дальнейших попыток, а вскоре они разошлись.



Мадонна Порт-Льигата (2-ая версия)

Уинстон едва слышно вздохнул. Он снова взял перо и стал писать:

Женщина повалилась на кровать и тут же, без разговоров, самым непристойным и ужасным жестом, какой только можно вообразить, вздернула юбку. Я...

Он увидел, как, освещенный тусклым светом лампы, он стоит в подвале, вдыхая запах клопов и дешевых духов и испытывая в сердце чувство поражения и горькой обиды, которые даже в этот момент мешались с воспоминанием о белом теле Катерины, навеки замороженном

гипнотической силой Партии. Почему это всегда должно быть так? Почему нельзя любить одну женщину, свою женщину, а нужно прибегать к этим животным стычкам с годовыми перерывами? Но настоящая любовь – почти невыносимая вещь. Партийки все одинаковы. Целомудрие так же укоренилось в них, как верность Партии. С помощью различных мер к улучшению здоровья, предпринимаемых с детских лет, с помощью игр, холодных купаний, с помощью всякого вздора, который вдалбливается в них в школе, в Юных Шпионах, в Юношеской Лиге, с помощью лекций, парадов, песен, лозунгов, военной музыки убивается у них естественное чувство. Разум говорил ему, что должны быть исключения, но сердце ЭТОМУ не верило. Все они неприступны, как того и хочет Партия. Желание хотя бы только раз в жизни разбить эту стену целомудрия было в нем даже сильнее желания быть любимым. Успешный и законченный половой акт был мятежом. Страсть – преступлением мысли. Ведь даже если бы он разбудил Катерину, это рассматривалось бы как обольщение, хотя она была его женой.

Но рассказ должен быть доведен до конца. И он написал:

Я ввернул лампу. Когда я увидел ее при свете...

После темноты хилый свет парафиновой лампы казался очень ярким. В первый раз он разглядел женщину как следует. Он шагнул к ней и остановился, полный вождения и ужаса. До боли он сознавал всю опасность того, что пришел сюда. Очень может быть, что патруль схватит его, когда он будет уходить и возможно, что сейчас его уже ждут у дверей. И даже если он уйдет, не сделав того, зачем пришел...

Это должно быть написано! Он должен в этом исповедаться! При свете Лампы он внезапно увидел, что женщина была старухой! Краска так густо облепляла ей лицо, что, казалось, вот-вот начнет трескаться как картонная маска. Серые пряди сквозили в ее волосах. Но одна деталь поразила его до ужаса: рот женщины, слегка открытый не обнаруживал ничего, кроме пещерной пустоты. В нем не было ни одного зуба.

Торопливо, каракулями он написал:

Когда я увидел ее при свете, я обнаружил, что она совсем старуха, пятидесяти лет, по крайней мере. Но это не остановило меня и я сделал свое дело...

Он снова прижал пальцы к векам. Наконец-то он это написал, но что изменилось? Лечение не помогло. Желание прокричать во весь голос неприличное ругательство было так же сильно, как и прежде.

VII

Если и есть надежда (писал Уинстон), то только на пролов.

Если и имелась какая-то надежда, то она должна была заключаться в пролах, потому что только там, среди отверженных масс, роившихся как насекомые и составлявших восемьдесят пять процентов населения Океании, могла зародиться сила, способная уничтожить Партию. Партию нельзя ниспровергнуть изнутри. Если у нее и были враги, они не имели возможности объединиться и опознать друг друга. Даже если легендарное Братство существовало, что можно было допустить, то нельзя было понять, как его члены могли собираться больше, чем по двое и по трое. Протест выражался лишь во взгляде, в интонации голоса или, самое большее, – в случайном, шепотом сказанном слове. Между тем, пролы не нуждались бы в конспирации, если бы они сумели как-то осознать свою силу. Им достаточно было бы подняться и хорошенько встряхнуться, словно лошади, отгоняющей оводов. Стоит им захотеть, и они завтра же утром разорвут Партию в клочья. Несомненно, раньше или позже они догадаются это сделать, но пока...

Он вспомнил, как однажды, когда он шел по улице, запруженной толпами народа, до него донесся ужасный крик сотен женских голосов, взорвавшийся в переулке немного впереди него. Это был грозный и могучий возглас гнева и отчаяния, глубокое и громкое «о-о-о!» подобное гудению колокола. У него забилося сердце. Началось! – подумал он. – Восстание! Наконец-то пролы вырвались на свободу! Подойдя ближе, он увидел толпу в двести или триста женщин, сгрудившихся вокруг базарных ларьков. Лица этих женщин выражали такое отчаяние, словно они были обреченными на гибель пассажирами тонущего корабля. Но в ту же минуту общая свалка как бы разделилась на множество отдельных ссор. Оказалось, что в одном из ларьков продавались металлические кастрюли. Кастрюли были скверные, дешевенькие, но кухонную посуду всегда было трудно достать. А тут ее запас неожиданно совсем иссяк. Те женщины, которым удалось купить, под толчки и зуботычины остальных старались выбраться из толпы со своими кастрюлями, в то время как десятки других, окружив прилавок, шумно обвиняли продавца в том, что он продавал по знакомству и что у него припрятан остаток товара. Снова всплеснулся крик. Две опухших женщины, – у одной из них растрепавшиеся пряди свисали на лоб, – ухватившись за кастрюлю, старались вырвать ее друг у друга. Они Тянули ее до тех пор, пока ручка не обломилась. Уинстон с отвращением глядел на них. Но все же, пусть лишь на мгновение, – какая ужасающая сила прозвучала в этом крике всего двух или трех сотен голосов! Почему они не закричат вот так, когда дело касается чего-нибудь действительно серьезного?

Он написал:

Пока их сознание не проснется, они не восстанут, но раньше, чем они не восстанут, их сознание не может проснуться.

Это звучит почти как выписка из партийных учебников, – подумал он. Партия, конечно, утверждала, что она освободила пролов от рабства. До революции они жестоко угнетались капиталистами, подвергались избиениям, голодали, женщин заставляли работать в угольных копях (на самом деле женщины и до сих пор продолжали там работать), шестилетних детей продавали на фабрики. Но в то же время, по принципу двоемыслия, Партия учила, что пролы от рождения – существа низшего порядка, которых, как животных, следует держать в повиновении с помощью немногих простых правил. В сущности, о пролах известно очень мало и нет необходимости знать больше. Пока они плодятся и работают, от них не требуется ничего иного. Предоставленные самим себе, как скот, вольно пасущийся на равнинах Аргентины, они вернулись к образу жизни их предков, который кажется естественным для них. Они рождаются, растут на улице, в двенадцать лет идут работать, затем вступают в короткий период расцвета и полового желанья, в двадцать лет женятся и выходят замуж, к тридцати годам достигают среднего возраста, а умирают в большинстве случаев около шестидесяти. Тяжелый физический труд, заботы по хозяйству и о детях, мелкие стычки с соседями, фильмы, футбол, пиво, а больше всего азартные игры – вот и весь их умственный горизонт. Их нетрудно держать под контролем. Небольшое количество агентов Полиции Мысли всегда трется среди них, распуская ложные слухи, беря на заметку и изымая немногих отдельных лиц, которые могут оказаться опасными; но никаких попыток преподать им партийную идеологию не делается. Все, что от них требуется – это примитивный патриотизм, который мог бы проявляться, когда надо согласиться с удлинением рабочего дня или с сокращением пайка. И даже когда они недовольны, что иногда бывает, их недовольство не приводит ни к чему, потому что не имея руководящей идеи, они могут сосредоточить внимание лишь на мелочах. Более крупное зло неизменно ускользает из их поля зрения. У подавляющего большинства пролов нет даже телескрин на дому. Да и гражданская полиция очень редко вмешивается в их дела. В Лондоне громадное количество воров, бандитов, проституток, торговцев наркотиками и гангстеров, – целое государство преступников в государстве, – но поскольку все это происходит среди пролов, этому не прида-

ется значения. Во всем, что касается нравственности, пролам разрешено следовать кодексу их предков. Не навязывается им и половой пуританизм Партии. Половая распущенность не преследуется, разводы – разрешены. Точно так же даже и богослужения были бы разрешены, если бы пролы обнаружили хоть малейшую потребность в них. Они – ниже подозрений. Как гласит партийный лозунг: «Пролы и животные свободны».

Уинстон нагнулся и осторожно почесал верикозную язву. Она опять начала зудеть. Все дело неизменно упирается в то, что нельзя установить, как в действительности жили люди до Революции. Он достал из ящика школьный учебник по истории, взятый у госпожи Парсонс, и принялся выписывать в дневник следующий отрывок:

В прежние времена (говорилось там), до Великой Революции Лондон не был тем прекрасным городом, каким мы знаем его сейчас. Это были темные, грязные и убогие трущобы, где вряд ли кто-нибудь из жителей ел досыта и где у сотен и тысяч бедняков не было даже обуви на ногах и крыши над головой. Дети не старше вас должны были работать по двенадцати часов в сутки на жестоких хозяев, которые секли их кнутом, если они работали медленно, а кормили только черствым хлебом да водой. Но посреди всей этой ужасной нищеты стояло несколько громадных домов, где жили богатые люди, имевшие по тридцати слуг. Эти богачи назывались капиталистами. Это были толстые, безобразного вида люди с лицами злодеев, вроде того, что вы видите на картинке на следующей странице. Вы видите, что он одет в длинный черный пиджак, который назывался фраком, а на голове у него странная сверкающая шляпа, похожая на печную трубу – цилиндр, как их называли тогда. Это была форма капиталистов и никто, кроме них, не смел ее носить. Все в мире принадлежало капиталистам, а все другие были их рабами. Капиталистам принадлежала вся земля, все дома, все фабрики и все деньги. Если кто-нибудь не повиновался им, они могли бросить его в тюрьму или отнять работу, и он умирал с голоду. Когда простой человек разговаривал с капиталистом, он должен был пресмыкаться перед ним, низко кланяться, снимать шляпу и говорить «сэр». Самый главный из капиталистов назывался королем и...

Но он знал остальное. Там, конечно, рассказывалось о епископах, носивших батистовые рукава, о судьях, одетых в горностаевые мантии, о позорном столбе, о бирже, об однообразном изнуряющем труде, о девятихвостке, о банкете у лорда-мэра и об обычае целовать папскую туфлю. Существовала еще одна вещь – *j'aesipirumnp sc to*, которую, быть может, лучше было бы и не упоминать в учебнике для детей. Так назывался закон, по которому каждый капиталист имел право спать с любой женщиной, работавшей у него на фабрике.

Как можно узнать, сколько во всем этом лжи? Может быть и правда, что среднему человеку живется теперь лучше, чем до Революции. Единственное очевидное свидетельство против этого – немой протест всего вашего организма, инстинктивное ощущение того, что условия, вас окружающие, – невыносимы и что когда-то они должны были быть иными. Его вдруг поразила мысль, что лучше современную жизнь характеризуют не ее жестокость и не то, что человек так не уверен в завтрашнем дне, а просто ее пустота, бедность и безотрадность. Стоит посмотреть вокруг себя, чтобы убедиться, что жизнь не только не имеет никакого сходства с ложью, изливаемой телескрином, но даже с идеалами, к которым стремится Партия. Очень многие стороны этой жизни – отбывание нудной трудовой повинности, битвы за место в метро, штопанье драных носок, выпрашивание таблетки сахарину, собирание окурков – даже для членов Партии нейтральны и не имеют отношения к политике. Идеальный мир Партии представлял собою нечто грандиозное, ужасающее и великолепное: мир стали и цемента, чудовищных

машин, грозного оружия, нацию воинов и фанатиков, идущих вперед и вперед в совершенном единстве, одинаково думающих, выкрикивающих одни и те же лозунги, вечно работающих, сражающихся, торжествующих, вечно кого-то преследующих, – триста миллионов людей с одинаковым обликом. А действительностью были: приходящие в упадок мрачные города, где полуголодные люди едва волочили ноги в драных башмаках и кое-как залатанные дома девятнадцатого столетия, в которых вечно стоит запах капусты и грязных уборных. Вид Лондона, казалось, стоял перед ним, как живой: вид громадного разрушенного города с миллионом домов, похожих на мусорные ящики. И этот вид каким-то образом связывался с воспоминанием о госпоже Парсонс, женщине с морщинистым лицом и прямыми космами волос, беспомощно копающейся в забитой сточной трубе.

Он протянул руку и опять почесал лодыжку. День и ночь телескрин вдалбливал в вас статистику, доказывающую, что у людей сегодня стало больше пищи и одежды, чем пятьдесят лет тому назад, что они живут в лучших домах, больше развлекаются, что продолжительность жизни увеличилась, а часы работы сократились, что народ стал выше ростом, здоровее, сильнее, умнее, что он получает лучшее образование. Но ни одно из этих утверждений нельзя доказать или опровергнуть. Партия, например, заявляет, что сорок процентов взрослых пролов теперь грамотны, а до Революции их было всего пятнадцать. Она также утверждает, что смертность среди детей равняется теперь лишь ста шестидесяти на тысячу, тогда как до Революции из каждой тысячи умирало триста. И так далее. Вроде одного уравнения с двумя неизвестными. Очень могло быть, что в книгах по истории буквально каждое слово, даже когда речь заходит о вещах, не вызывающих сомнений, – чистая фантазия. Насколько он знал, вряд ли когда-нибудь было что-либо похожее на такой закон, как *jus primaе postis*; или на такое существо, как капиталист, или на такой головной убор, как цилиндр.

Все исчезало в дымке. Прошлое стерт, подчистка забыта и ложь стала правдой. Только один раз в жизни он обладал конкретным безошибочным доказательством акта фальсификации, но беда вся в том, что обладал он им постфактум. Он держал это доказательство в руках тридцать секунд. Это было, по всей вероятности, в 1973-ем году или, во всяком случае, приблизительно в то время, когда он разошелся с Катериной. Однако, самое событие произошло семью или восьмью годами раньше.

Началось оно в середине шестидесятых годов, в период великих чисток, когда были уничтожены раз и навсегда вожди Революции. К 1970-му году никого из них, кроме Старшего Брата, не оставалось. Все прочие были к тому времени разоблачены, как изменники и контрреволюционеры. Гольдштейн бежал и скрывался неизвестно где, а большинство было казнено после громких показательных процессов, на которых они признавались в своих преступлениях. В числе последних уцелевших были три человека по имени Джонс, Ааронсон и Рутефорд. Примерно в 1965-ом году всех их арестовали. Как это нередко бывало, они исчезли на год или на два, и никто не знал, живы они или погибли, а затем неожиданно их вытащили снова для обычных саморазоблачений. Они признались в связях с вражеской разведкой (в те дни, как и теперь, врагом была Евразия), в присвоении народных средств, в убийстве ответственных членов Партии, в саботаже, жертвами которого были сотни и тысячи людей, и в том, что еще задолго до Революции они начали плести интригу против руководства Старшего Брата. После этих признаний они были помилованы, восстановлены в Партии и назначены на такие посты, которые хотя и казались важными, но на деле ничего не значили. Все трое поместили в Таймсе пространные самоуничижительные статьи, в которых излагали причины своего отступничества и обещали исправиться.

И действительно, через некоторое время после их освобождения Уинстон увидел их всех в кафе «Под каштаном». Он припомнил теперь, как, словно зачарованный ужасом, украд-

кой наблюдал за ними. Они были много старше его – эти осколки древнего мира, едва ли не последние великие люди, уцелевшие от ранних героических дней Партии. Героика подпольной борьбы и гражданской войны все еще, казалось, реяла над ними. Хотя уже в то время факты и даты начали терять свою отчетливость, у Уинстона было такое чувство, что он знал имена этих людей задолго до того, как услышал о Старшем Брате. Но вместе с тем, это были люди, находившиеся вне закона, Партии и враги, безусловно обреченные на гибель в течение года или двух. Все, кто побывал хоть раз в руках Полиции Мысли, кончали возвращением туда. Это были трупы, ожидавшие того момента, когда их отошлют назад в могилу.

Возле них за столиками не было ни души. Неразумно показываться даже близко с такими людьми. Они молча сидели за стаканами джина, настоянного на гвоздике (этой настойкой славились кафе). Особенно большое впечатление на Уинстона произвела наружность Рутефорда. Когда-то он был знаменитым карикатуристом – в годы Революции и до нее его свирепые карикатуры помогали разжигать общественное мнение. Даже и теперь с большими перерывами они появлялись в Таймсе. Удивительно безжизненные и неубедительные, они были только подражанием его прежней манере, пережевыванием старых тем: трущобы, голодные дети, уличные бои, капиталисты в цилиндрах (словно и на баррикадах они боялись потерять цилиндры). – бесконечные, беспомощные старания уйти в прошлое. Внешность Рутефорда была уродлива: грива сальных седых волос, мешковатое лицо в морщинах, выпяченные губы. Когда-то он был чрезвычайно силен, теперь его большое тело обвисало, горбилось, пухло и расползлось. Он, казалось, распадался на глазах, как разрушающаяся гора.

Было время дневного затишья – около пятнадцати часов. Уинстон не мог теперь припомнить, как он оказался в кафе в такое время. Комната была почти пуста. Тоненькой струйкой лилась из телескрина дребезжащая музыка. Трое почти неподвижно сидели в глубоком молчании в углу. Официант без напоминания принес новые стаканы джина. Возле столика на доске были расставлены шахматы, но игра не начиналась. Потом, быть может, лишь на полминуты, что-то случилось с телескрином. Мелодия изменилась и вместе с ней изменился весь характер музыки. В нее что-то ворвалось, трудно сказать, что именно. Раздалась какая-то необычайная, надтреснутая, глумливая нота, которую Уинстон мысленно тут же назвал трусливой. И кто-то запел:

Под развесистым каштаном
Предали друг друга мы;
Под развесистым каштаном
Полегли – и мы и вы.

Трое не пошелохнулись. Но когда Уинстон бросил взгляд на обветшавшее лицо Рутефорда, он увидел, что глаза того полны слез. И в первый раз с каким-то внутренним содроганием, сам еще не сознавая, что заставляет его содрогаться, он заметил, что и у Ааронсона и у Рутефорда перебиты носы.

Вскоре после этого все трое снова были арестованы. Передавали, что они якобы приняли участие в новом заговоре сразу же после освобождения. На втором процессе они не только подтвердили все прежние преступления, но и признались в целом ряде новых. Их казнили, и смерть их, в назидание потомству, была зафиксирована в книгах по истории Партии. Примерно через пять лет после этого, развертывая пачку документов, только что выброшенных пневматической трубой, Уинстон обнаружил среди них обрывок газеты, очевидно по ошибке сунутый туда и забытый. Он понял все его значение, как только развернул его. Это был десятилетней давности обрывок Таймса, верхняя половина страницы с датой и со снимком делегатов какого-то партийного съезда в Нью-Йорке. Прямо в центре группы бросались в глаза лица Джонсона,

Ааронсона и Рутефорда. Ошибиться было невозможно – их имена значились в подписи под снимком.

Вся суть дела состояла в том, что на обоих процессах все трое признавались, будто как раз в это время они находились на территории Евразии. Они вылетели с тайного аэродрома в Канаде и где-то в Сибири встретились с работниками Генерального штаба Евразии, которым и выдали важные военные секреты. Число врезалось в память Уинстона потому, что это был Иванов день и, кроме того, вся эта история описывалась в бесчисленных официальных документах. Вывод следовал только один: признание было ложью.

Конечно, никаким открытием это не являлось. Даже и тогда Уинстон не мог себе представить, чтобы люди, ликвидированные во время чисток, действительно совершали преступления, в которых их обвиняли. Но здесь было конкретное доказательство: кусочек уничтоженного прошлого, вроде ископаемого, попавшего не в то напластование, где ему следовало быть и ниспровергающего геологическую теорию. Ведь этого достаточно, чтобы разнести Партию в пух и прах, если бы можно было этот факт опубликовать и указать на все его значение.

Он продолжал работу. Увидев фотографию и сообразив, что она значит, он тут же накрыл ее другим листом бумаги. К счастью, когда он ее развернул, она была обращена к телескрину обратной стороной.

Потом он положил блокнот на колени и отодвинулся со стулом как можно дальше от телескрин. Не трудно придавать лицу бесстрастное выражение, можно при известном усилии контролировать дыхание, но контролировать биение сердца невозможно. А телескрин настолько тонкий аппарат, что способен уловить даже его. Терзаемый страхом, что какой-нибудь внезапный случай, вроде порыва сквозняка, который может разнести бумаги со стола, выдаст его, он переждал минут десять. Потом, не разворачивая больше фотографии, сунул ее вместе с другим бумажным хламом в щель-напоминатель. В следующий миг она наверно превратилась в пепел.

Это было лет десять-одиннадцать тому назад. Теперь он, может быть, и сохранил бы фотографию. Странно: тот факт, что когда-то он держал ее в руках, казался ему значительным даже теперь, когда и фотография и событие на ней запечатленное стали воспоминанием. Его поразила мысль – а не слабеет ли власть Партии над прошлым оттого, что улика, которая больше не существует, все же в свое время существовала?

Но теперь, если бы, допустим, каким-то чудом и удалось восстановить из пепла фотографию, она едва ли могла

быть уликой. Даже когда он ее обнаружил, Океания уже не воевала больше с Евразией, так что те трое мертвецов, надо полагать, предали свою страну Истазии. Происходили и другие перемены, два или три раза, – он не помнил сколько. Вероятнее всего, признание переписывалось и переписывалось до тех пор, пока факты и даты не потеряли всякое значение. Прошлое не просто изменяется, а изменяется постоянно. Больше всего он мучился тем, что никогда не мог понять, для чего предпринимается весь этот гигантский обман. Непосредственная выгода подделки прошлого была ясна, но ее конечные цели представляли тайну.

Он снова взял перо и написал:

Я понимаю КАК, но не понимаю ЗАЧЕМ.

Как не раз бывало прежде, он задумался над тем, не сошел ли он с ума. Возможно, что сумасшествие – это просто особое мнение. Когда-то вера в то, что земля вращается вокруг солнца, была признаком сумасшествия; теперь этот признак – вера в неизменность прошлого. Не он ли один придерживается этой веры? А раз один – значит он сумасшедший. Но то, что он помешанный – не очень беспокоило его, страшно, если он ошибается.

Он взял учебник по истории и посмотрел на портрет Старшего Брата на фронтиспise. Гипнотические глаза пристально смотрели на него. Словно какая-то гигантская сила давила на вас; сжимая мозг, сокрушая вашу веру и убеждая, она проникала в сознание, чтобы лишить

вас всех его доводов. В конце концов Партия заявит, что два и два – пять, и придется верить ей. Они неминуемо рано или поздно придут к этому, потому что вся их логика требует этого. Не только просто достоверность опыта, но и сама объективная действительность молчаливо отрицается их философией. Ересь из ересей почитается за здравый смысл. И страшно не то, что вас уничтожат за то, что вы думаете иначе, а то, что они могут оказаться правы. В конце концов, откуда известно, что два и два – четыре? Или что закон тяготения имеет силу? Или, что прошлое неизменяемо? Ведь если и прошлое и объективная реальность существуют лишь в сознании, а само сознание подчиняется контролю, то значит...

Не может быть! Внезапно его мужество как-то само собой окрепло. Лицо О'Брайена безо всяких ассоциаций вдруг возникло перед ним. Тверже, чем прежде, он мог сказать теперь, что О'Брайен на его стороне. Он пишет свой дневник О'Брайену и для О'Брайена. Это вроде бесконечного письма, которого никто никогда не прочитает; но оно адресовано определенному лицу и из этого факта обретает свой характер.

Партия требует, чтобы вы отрицали то, что слышат ваши уши и видят глаза. Это ее безоговорочный и самый существенный приказ. Ему стало страшно, когда он подумал о громадной силе врага: о легкости, с которой каждый партийный интеллигент победит его в споре, об искусных доводах, которых он не в силах понять, а тем более опровергнуть. И все-таки он Прав! Они неправы, а он прав! Очевидность, простодушие и правду надо защищать. А правда – в избитых истинах, поэтому – держись их! Вселенная существует, ее законы неизменны. Камни тверды, вода жидка, предметы, как и прежде, падают к центру земли. С таким чувством, что он обращается к О'Брайену и излагает важную аксиому, он написал:

Свобода есть свобода, как два и два – четыре. Если это принять, – все остальное следует.

VIII

Откуда-то снизу, из глубины подъезда, растекался по улице аромат жареного кофе, настоящего кофе, а не Кофе Победа. Уинстон невольно остановился. Секунды на две он перенесся назад, в полузабытый мир детства. Потом дверь захлопнулась, и аромат исчез, словно внезапно оборвавшийся звук.

Уинстон прошел по тротуарам несколько километров, и его верикозная язва ныла. Второй раз за три недели он пропускал вечер в Общественном Центре – опрометчивый шаг, потому что каждое посещение Центра, конечно, тщательно проверялось. В принципе, у члена Партии не было свободного времени и, за исключением часов сна, он никогда не оставался один. Предполагалось, что если он не занят работой, не ест и не спит – он участвует в коллективных развлечениях. Если же вы занимались чем-нибудь таким, что давно давало основание предполагать в вас склонность к одиночеству, даже если вы шли погулять один, вы всегда подвергали себя известной опасности. На Новоречи существовало для этого особое слово – своежизнь, означающее индивидуализм и эксцентричность.

Но сегодня вечером, когда он вышел из Министерства, благоухание апрельского воздуха околдовало его. За целый год он ни разу не видал такого нежно-голубого неба, и внезапно долгий шумный вечер в Общественном Центре с его скучными и утомительными играми, лекциями, с его пьяной дружбой, показался ему невыносимым. Под влиянием внезапного порыва он повернул с автобусной остановки в другую сторону и отправился странствовать по лабиринту лондонских улиц, сперва на юг, потом на восток, потом снова на север, затерявшись на незнакомых улицах и не заботясь о том, куда идет.

«Если и есть надежда, – писал он в дневнике, – то только на пролов». Эти слова мистической правды и вместе с тем явной несурзаицы снова и снова приходили ему на ум. Он находился в каких-то безликих и сумрачных трущобах к юго-западу от того места, где когда-то была

станция Сан Пакрас. Он шел по мощеной булыжником улице с маленькими двухэтажными домами, распахнутые двери которых, странно похожие на крысиные норы, выходили прямо на тротуары. Между булыжниками там и тут стояли грязные лужи. В темных дверных пролетах и возле них, а также в узеньких переулочках, ответвлявшихся в обе стороны, рои-лось удивительное количество народу – девушки с грубо накрашенными губами и в полном расцвете молодости, парни, гонявшиеся за ними, расплывшиеся женщины с переваливающейся походкой, вид которых говорил о том, во что превратятся девушки лет через десять; были тут и старые, согнувшиеся в три погибели существа, волочащиеся на вывороченных ногах, и одетые в лохмотья босоногие дети, игравшие в лужах и разбегавшиеся врассыпную при сердитых криках матерей. Приблизительно четвертая часть окон в домах была разбита и заколочена досками. Большинство людей не обращало на Уинстона никакого внимания, но некоторые провожали его глазами с настороженным любопытством. Две женщины безобразного вида, скрестив кирпично-красные руки на фартуках, беседовали у подъезда. Подойдя к ним, Уинстон уловил обрывки разговора:

– Да-а... А я, значит, ей и говорю: все это хорошо, говорю, а только будь ты на моем месте – и ты бы так же сделала. Других, говорю, легко судить, когда над самой забота не висит.

– Вот то-то и оно, – соглашалась другая, – Других, знамо, легко судить. Вот то-то и оно...

Пронзительные голоса резко оборвались. С молчаливой враждебностью женщины разглядывали Уинстона, пока он проходил. Собственно, это была даже и не враждебность, а просто что-то вроде настороженности, мгновенной собранности, словно при приближении неведомого зверя. Синий партийный комбинезон не часто можно было видеть на таких улицах, как эта. И, конечно, неблагоприятно было появляться в здешних местах без определенного дела. Стоит натолкнуться на патруль – и вас могут задержать. «Разрешите ваши документы, товарищ. Что вы тут делаете? Это ваша обычная дорога домой?» И так далее и так далее. Хотя и нет правила, запрещающего ходить с работы домой другой дорогой, чем обычно, однако, если Полиция Мысли услышит об этом – этого достаточно, чтобы привлечь к себе ее внимание.

Внезапно всю улицу охватило смятение. Со всех сторон понеслись предостерегающие крики. Люди, словно кролики, кинулись в подъезды. Недалеко от Уинстона молодая женщина выскочила из дома, схватила крошечного ребенка, игравшего в луже и, накрыв его передником, бросилась назад— и все это, как бы одним движением. В то же мгновение какой-то человек в черном, собранном в гармошку костюме, вынырнув из переулка, подбежал к Уинстону и, взволнованно указывая на небо, закричал:

– Пароход! Берегитесь, хозяин! Прячьте голову! Ложитесь скорее, ложитесь!

«Пароходами» пролы почему-то окрестили реактивные снаряды. Уинстон тотчас же упал на землю вниз лицом. Пролы почти никогда не ошибались в предостережениях такого рода. Они словно обладали каким-то инстинктом, позволявшим им предугадать появление реактивных снарядов, хотя последние, по общему мнению, и двигались со скоростью, превышавшей скорость звука. Уинстон схватил руками голову. Раздался грохот, от которого, казалось, вздыбилась мостовая; дождь легких предметов забарабанил по спине Уинстона. Поднявшись, он увидел, что весь засыпан осколками стекла из ближайшего окна.



Акробат

Он двинулся дальше. Снаряд снес группу домов в двухстах метрах от него по той же улице. Черный плюмаж дыма повис в небе, а ниже под ним стояло облако известковой пыли, в котором темнела уже собиравшаяся вокруг руин толпа. Небольшой слой извести покрывал и тротуары впереди Уинстона, а посреди этого слоя он заметил ярко-красный прожилок. Подойдя ближе, он увидел, что это кисть человеческой руки. Оторванная в запястье, она была так обескровлена, что походила на гипсовый слепок. Он столкнул ее ногой в канаву и, чтобы избежать встречи с толпою, свернул в боковую улицу направо. Не больше, чем через три или четыре минуты он вышел из пределов пораженной снарядом площади, и жалкая роевая жизнь снова закипела вокруг него, словно ничего и не произошло. Было около двадцати часов и

излюбленные пролами питейные заведения («пивнушки», как их называли пролы) кишели посетителями. Из грязных дверей, открывавшихся в обе стороны, вырывался наружу запах мочи, опилок и кислого пива. В углу, образованном выступающим фасадом дома, стояли трое мужчин; тот, что стоял посередине, держал в руке сложенную газету, которую двое других внимательно рассматривали из-за его плеча. Даже еще до того, как он приблизился настолько, чтобы различить выражение их лиц, Уинстон мог заметить напряжение в каждой линии их тела. Несомненно, они читали важные новости. Он был в нескольких шагах от них, как группа вдруг раскололась, и из нее выделились двое бешено спорящих мужчин. С минуту казалось, что они вот-вот схватятся драться.

– Будешь ты, черт тебя возьми, слушать, что я говорю?! Говорят тебе, что уже больше четырнадцати месяцев не выигрывал ни один номер с семеркой на конце!

– Нет, выигрывал!

– Нет, не выигрывал! Придем домой, я покажу тебе все номера за два года. Я их все записываю, как часы. И говорю тебе: ни одного номера с семеркой на конце!

– А я говорю, что у того, который выиграл, была семерка. Я почти помню этот треклятый номер – он кончался на 407. Это было в феврале, на второй неделе февраля.

– Да иди ты к черту с февралем. У меня они все записаны черным по белому. И ни одного номера...

– Да бросьте вы об этом! – сказал третий.

Разговор шел о лотерее. Отойдя метров тридцать, Уинстон обернулся. Они все еще продолжали страстно спорить. Лотерея с ее громадными еженедельными выигрышами была тем общественным событием, которому пролы уделяли серьезное внимание. Возможно, что для миллионов из них она была главным, если не единственным оправданием существования. Это пустое развлечение приносило им радость и успокоение и служило стимулом какой-то умственной жизни. Когда дело касалось лотереи, даже люди, едва умевшие читать и писать, оказывались способными на сложные вычисления и невероятное умственное вдохновение. Были целые кланы людей, промышлявшие на жизнь продажей систем, предсказаний и амулетов счастья. Уинстон не имел никакого отношения к лотереям, которыми ведало Министерство Изобилия, но (как и всякий член Партии) знал, что выигрыши были в значительной мере воображаемыми. На самом деле выплачивались только небольшие суммы, а крупные выигрывались людьми, никогда в природе не существовавшими. При отсутствии какой бы то ни было настоящей связи между отдельными частями Океании это достигалось без труда.

И все же: если и была надежда, то лишь на пролов. И она была единственной опорой. Выраженная в словах она казалась обоснованной, но стоило взглянуть в лица встречавшихся на тротуаре людей, и эта надежда становилась только делом веры. Улица, на которую свернул Уинстон, вела вниз с холма. У него было такое ощущение, что когда-то раньше он уже бывал в этих местах и что где-то тут неподалеку проходит главная артерия этой части города. Навстречу доносился Шум голосов. Улица круто повернула направо и закончилась лестницей, ведущей в глубокий переулок, где несколько лоточников торговали залежавшимися овощами. В этот момент Уинстон вспомнил, где он. Переулок выходил на главную улицу и за следующим поворотом, не больше, чем в пяти минутах ходьбы, была лавка старьевщика, где он купил тетрадь, служившую теперь дневником. А недалеко оттуда в писчебумажной лавочке он приобрел ручку и бутылку чернил.

Он задержался на минуту на верхней ступени лестницы. На другой стороне переулочка находилась маленькая грязная пивнушка, окна которой казались подернутыми инеем, а на самом деле попросту были покрыты пылью. Очень старый человек, весь скрюченный, но подвижной, с белыми усами, торчащими вперед как у креветки, толкнул дверь и вошел в пивную. Наблюдая за ним, Уинстон вдруг подумал, что этот старик, которому никак не менее восьмидесяти, был уже человеком средних лет, когда произошла Революция.

Таких, как он немного, и они – последнее звено, связующее нынешние времена с исчезнувшим миром капитализма. В самой Партии оставалось мало людей, мировоззрение которых сложилось до Революции. Старшее поколение было в большинстве уничтожено великими чистками пятидесятых и шестидесятых годов, а немногие оставшиеся в живых, давно запуганы до полной умственной капитуляции. Если и оставался еще кто-нибудь, способный правдиво описать условия жизни в начале века, то такого можно было найти только среди пролов. Внезапно ему вспомнился отрывок из книги, который он переписывал в дневник, и безумный порыв охватил его. Что если он зайдет в пивнушку, попробует познакомиться со стариком и расспросить его? Он скажет: «Расскажите, как вам жилось, когда вы были мальчиком. Какова была в то время жизнь – лучше, чем нынешняя, или хуже?»

Поспешно, чтобы не дать страху овладеть собою, он сбежал с лестницы и пересек узенькую улочку. Конечно, это было безумием. По обыкновению, никакого определенного правила, запрещающего вступать в беседы с пролами и заходить к ним в пивные, не существовало, но и то и другое было настолько необычным, что не могло пройти незамеченным. Если появится патруль, он попробует сослаться на приступ дурноты, но вряд ли ему поверят. Он толкнул дверь, и отвратительный сырноватый запах прокисшего пива ударил ему в нос. Шум голосов упал наполовину, как только он вошел. Он чувствовал, что за его спиной все взоры устремлены на его синий комбинезон. Метание стрел, которым занимались посетители в противоположном конце комнаты, прекратилось, может быть, секунд на тридцать. Старик, следом за которым он пришел сюда, стоял у стойки и, видимо, о чем-то препирался с кабатчиком, – большим и крепким молодым человеком с крючковатым носом и огромными руками. Стоявшая вокруг кучка людей с кружками в руках наблюдала за сценой.

– Я же просил тебя, как человека, – говорил старик, вызывающе выпячивая грудь. – А ты говоришь, что во всем твоём проклятом кабакишке нет ни одной пинтовой кружки.

– Да что еще за пинта, дьявол ее задави? – спрашивал кабатчик, упираясь пальцами в стойку и перегибаясь через нее.

– Полюбуйтесь на него! Называет себя кабатчиком и не знает, что такое пинта! Ну, половина кварты, понимаешь? А в галлоне – четыре кварты. В другой раз придется, видно, учить тебя грамоте.

– Сроду не слыхивал, – коротко объявил кабатчик. – Литр и пол-литра – вот все, что мы подаем. Кружки на полке перед тобою.

– Мне нужна пинта! – упрямо повторил старик. – Тебе ничего не стоит нацедить мне пинту. Когда я был молодой, мы и понятия не имели об этих чертовых литрах.

– Когда ты был молодой, мы все пешком под стол ходили, – ответил кабатчик, кидая взгляд в сторону остальных посетителей.

Раздался взрыв хохота, и неловкость, вызванная появлением Уинстона, казалось, исчезла. Лицо старика вспыхнуло под седой щетиной. Он двинулся прочь, что-то бормоча себе под нос и – натолкнулся на Уинстона. Уинстон мягко взял его за руку.

– Можно предложить вам выпить? – спросил он.

Вы джентльмен, – ответил старик, снова выпячивая грудь. Он словно не замечал синего комбинезона Уинстона. – Пинту! – добавил он воинственно в сторону кабатчика. – Пинту горлодера!

Кабатчик быстро нацедил два полулитра темно-коричневого пива в толстые кружки, сполоснув их перед этим в ведре под стойкой. Пиво было единственным напитком, который можно было получить в пивных для пролов. Джин им не разрешался, хотя на практике они могли его достать легко. Метание стрел возобновилось, а люди у стойки заговорили о лотерейных билетах. О присутствии Уинстона в мгновение ока забыли. Под окном стоял необделанный сосновый стол, за которым можно было побеседовать со стариком, не опасаясь того, что их

подслушают. Все это было ужасно опасно, но, во всяком случае, как он убедился сразу же при входе в комнату, в ней не было телескрина.

– Мог бы дать и пинту, – проворчал старик, подсаживаясь к своей кружке. – Пол-литра мало. Пол-литра меня не устраивают. А целый литр чересчур много. От него мой мочевого пузыря начинает протекать. О цене я уж не говорю.

– Вам пришлось наверно видеть много перемен с того времени, когда вы были молодым? – попробовал закинуть удочку Уинстон.

Светло-голубые глаза старика переходили от доски, в которую метали стрелы, к стойке, от стойки – к дверям мужской уборной, словно он думал о том, что вот тут, в пивной, и должны были произойти перемены.

– Пиво было лучше, – произнес он наконец, – и дешевле. Когда я был молодой, пиво средней крепости, – мы звали его горлодером, – стоило четыре пенса за пинту. Это было до войны, конечно.

– До какой именно войны? – спросил Уинстон.

– До всяких войн, – неопределенно отозвался старик. Он опять выпрямил плечи и поднял свою кружку. – Ваше здоровье!

Резко выделявшийся на его тощей шее кадык с неожиданной быстротой задвигался вверх и вниз, и пиво исчезло. Уинстон направился к стойке и вернулся с двумя новыми полулитрами. Старик, должно быть, забыл о своем пред-убеждении против целого литра.

– Вы гораздо старше меня, – сказал Уинстон. – Вы были уже взрослым, когда я еще не появился на свет. И вы, наверное, помните, как жилось в старые дни, до Революции. Люди моего возраста фактически не имеют никакого представления о тех временах. Мы можем узнать о них только из книг. Но то, что говорится в книгах, быть может, и неправда. Мне хотелось бы услышать ваше мнение на этот счет. Книги по истории говорят, что жизнь до Революции ничем не походила на теперешнюю. Самый ужасный гнет, бесправие и нищета, хуже которых ничего нельзя вообразить, царили в те времена. Здесь, в Лондоне, громадное количество людей всю жизнь, от рождения до смерти, питалось впроголодь. Половина населения ходила разутая. Люди работали двенадцать часов в сутки, бросали школу в девятилетнем возрасте, спали вдесятером в одной комнате. И в то же время существовала очень небольшая кучка людей, – всего несколько тысяч, – которых называли капиталистами и которые были богаты и могущественны. Они владели всем, чем только можно владеть. Они жили в громадных великолепных домах, имели по тридцать слуг, разъезжали в автомобилях и в каретах четвериком, пили шампанское, ходили в цилиндрах...

Старик вдруг оживился.

– Цилиндры! – сказал он. – Как странно, что вы вспомнили о них. Только вчера я тоже подумал о них. Сам не знаю, почему. Просто пришло в голову, что я уже давным-давно не вижу цилиндров. Они пропали начисто. Последний раз я надевал цилиндр на похороны невестки. Это было... не могу сказать когда... лет пятьдесят тому назад, должно быть. Конечно, как вы сами понимаете, я брал его на этот случай напрокат.

– Это не так важно, насчет цилиндров, – заметил терпеливо Уинстон. – Главное то, что эти капиталисты да еще небольшая группа их приживальщиков, вроде адвокатов и священников, были настоящими властителями мира. Все, что существовало, – существовало для их выгоды. Вы, – то есть, простые люди, – были их рабами. Они могли делать с вами, что угодно. Могли отправить вас как скот, в Канаду. Могли, если хотели, спать с вашими дочерьми. Могли приказать выпороть вас особой штукой, которая называлась девятихвосткой. При встречах с ними вы должны были снимать шляпу. Каждый капиталист ходил в сопровождении толпы лакеев, которые...

Старик снова загорелся.

– Лакеи! – повторил он. – Как давно не слышал я этого слова. Лакеи! Оно уносит меня назад. Я припоминаю, как когда-то, – чорт знает когда, – я любил ходить по воскресеньям после обеда в Гайд Парк слушать молодчиков, которые выступали там с речами. Армия спасения, католики, евреи, индусы – всякая публика там собиралась. И был там один тип, – не помню теперь, как его звали, – но вот уж говорун так говорун! Ну и давал им жизни! «Лакеи! – говорил он. – Лакеи буржуазии! Прислужники правящего класса. Паразиты, – называл он их еще. – Гиены!» Так прямо и говорил – «гиены». Вы понимаете, конечно, что он имел в виду Рабочую партию.

У Уинстона было такое впечатление, что они говорят со стариком на разных языках.

– Что мне действительно хотелось бы знать, – сказал он, – так это следующее: чувствуете ли вы, что вы теперь свободнее, чем в те времена? Чувствуете ли вы себя более человеком? В прежние дни богачи, эта верхушка...

– Палата лордов, – вставил старик, вдруг вспомнив прошлое.

– Ну, пусть будет Палата лордов. Так вот я спрашиваю: эти люди могли обращаться с вами как с низшим существом потому только, что они были богаты, а вы бедны? Правда ли, например, что вы должны были называть их «сэр» и снимать шляпу при встрече?

– Да, – сказал старик, – им нравилось, когда вы касались шляпы, встречаясь с ними. Это указывало на то, что вы их уважаете. Я лично не соглашался с этим, но все-таки делал довольно часто. Можно сказать, что я должен был это делать.

– И эти люди и их слуги действительно имели привычку толкать вас с тротуара в канавы? Я только повторяю то, что читал в книгах по истории.

– Один из них как-то толкнул меня, – ответил старик. – Я помню это, будто все произошло вчера. Это было вечером в день лодочных гонок. В такие вечера люди обычно здорово распоясывались. И вот на Шафтсбери авеню я столкнулся с одним молодым парнем. Джентльмен с головы до пят: крахмальная рубашка, цилиндр, черное пальто. Он шел по тротуару вроде как покачиваясь, ну, мы и столкнулись с ним. «Почему ты не смотришь, куда лезешь?» – сказал он. А я ему: «Ты думаешь, что ты купил этот проклятый тротуар?» А он мне: «Я тебе отвинчу башку, если ты станешь грубить». А я ему: «Ты пьян, – говорю. – Я из тебя сделаю котлету в полминуты». И тут, верите ли, он схватил меня за грудки и дал мне такого, что я чуть не угодил под колеса автобуса. Ну, я тогда был помоложе и собирался было смазать его только разок, как вдруг...

Чувство беспомощности овладело Уинстоном. Память старика представляла из себя просто грудку всяких вздорных подробностей. Можно было спрашивать его целый день и не добиться ничего. Но история, созданная Партией, могла быть до какой-то меры правдой, могла даже оказаться полной правдой. Он сделал последнюю попытку.

– Возможно, что я не совсем ясно выразился, – сказал он. – Мне хотелось сказать следующее: вы много прожили на свете и половина вашей жизни протекла до Революции. В 1925-ом году, например, вы были уже взрослым. Так вот, не можете ли вы сказать, поскольку вы, конечно, это помните, – тогда, в 1925-ом году, людям жилось хуже или лучше, чем теперь? Если бы можно было выбирать, что бы вы предпочли – те времена или теперешние?

Старик задумчиво смотрел на доску, в которую метали стрелы. Медленнее, чем прежде, он допил свое пиво. Когда он опять заговорил, тон его был каким-то снисходительно-философским, словно он размяк от пива.

– Я знаю, что вы ожидаете услышать от меня, – начал он. – Вы думаете, я скажу, что мне хотелось бы опять стать молодым. Большинство людей говорят, что хотели бы помолодеть, когда их спросишь об этом. В молодости вы здоровы и сильны. А когда доживешь до моих лет, вечно чувствуешь себя неважно. Я мучусь ночами, а с мочевым пузырем и совсем плохо. Шесть и семь раз за ночь он подымает меня с постели. Но, с другой стороны, старость имеет и свои громадные преимущества. Куда меньше беспокойства! Ничего общего с женщинами, –

а это великая вещь. Верите ли, у меня не было женщины уже чуть не тридцать лет. Больше того – не было даже и желания...

Уинстон откинулся на стуле к подоконнику. Продолжать было бесполезно. Он собрался было купить еще пива, как вдруг старик поднялся и быстро зашаркал к вонючему писсуару в другой конец комнаты. Лишние пол-литра уже подействовали на него. Уинстон посидел минуту или две, глядя в пустой стакан, и сам не заметил, как ноги снова вынесли его на улицу. Спустя двадцать лет самое большее, – размышлял он, – великий и простой вопрос: «была жизнь до Революции лучше или хуже, чем теперь?» – станет окончательно неразрешимым. Собственно, даже и теперь на него невозможно получить ответа, потому что немногие уцелевшие люди старого мира не в состоянии сравнить один век с другим. Они помнят миллион бесполезных вещей – ссору с сослуживцем, поиски потерянного велосипедного насоса, выражение лица давно умершей сестры, воронки пыли ветряным утром семьдесят лет тому назад, – но все существенные факты остаются вне поля их зрения. Они – как дети, которые за деревьями не могли увидеть леса. А когда память изменяет, а письменные источники подделываются, – когда это происходит, – приходится соглашаться с претензиями Партии на то, что она улучшила условия жизни, ибо более не существует и никогда вновь не появится никакой нормы, с которой можно было бы сравнить эти условия.

В этот миг ход его мысли резко оборвался. Он остановился и посмотрел вокруг. Он находился на узенькой улочке, где несколько темных маленьких лавчонок перемежались с жилыми домами. Прямо над его головой висели три облезлых металлических шара, которые когда-то, видимо, были позолочены. Ему казалось, что он знает это место. Ну, конечно! Он стоял возле лавки старьевщика, где купил дневник.

Приступ, страха на мгновение обуял его. Покупка тетради сама по себе была достаточно опрометчивым шагом, и он клялся никогда больше не приближаться к этому месту. Но стоило ему дать волю своим мыслям, и ноги сами привели его сюда. Это как раз и было одним из тех самоубийственных импульсов, от которых он надеялся оградить себя, начиная дневник. Но тут же он заметил, что хотя было уже около двадцати одного часа, лавочка еще не закрывалась. Чувствуя, что он навлечет меньше подозрений, находясь внутри, чем болтаясь около лавки на тротуаре, он ступил в подъезд. Если его спросят, он достаточно правдоподобно может ответить, что ищет лезвия для бритв.

Хозяин как раз только зажег висячую керосиновую лампу, издававшую чадный, но какой-то уютный запах. Это был человек лет шестидесяти, хилый и сутуловатый, с длинным носом и с добрыми глазами, которые были искажены толстыми очками. У него была почти совсем седая голова, но густые брови сохраняли черный цвет. Очки, мягкие хлопотливые движения и то, что одет он был в поношенный пиджак из черного бархата – все это создавало вокруг него атмосферу какой-то смутной интеллигентности, словно он был кем-то вроде писателя или музыканта. У него был тихий, как бы увядший голос и несколько лучшее произношение, чем у большинства пролов.

– Я узнал вас еще на тротуаре, – тотчас же сказал он. – Вы тот джентльмен, что купил альбом молодой дамы. Сколько прекрасной бумаги, сколько бумаги! Раньше она называлась верже. Такой бумаги нет... о, я полагаю, уже лет пятьдесят. – Он, прищурившись, взглянул на Уинстона поверх очков. – Могу я чем-нибудь служить вам? Или вы хотите просто посмотреть?

– Я проходил мимо, – неопределенно заметил Уинстон, – и заглянул. Мне не нужно ничего особенного.

– Это и хорошо, – сказал хозяин, – потому что вряд ли вы найдете что-нибудь по вкусу. – Он, словно в оправдание, повел кругом мягкой рукой. – Вы сами видите: можно сказать, пустая лавочка. Между нами говоря, со стариной уже почти покончено. И спросу нет да и на складе ее не имеется. Мебель, посуда, стекло – все постепенно бьется. А металлические вещи идут, конечно, в переливку. Уже много лет я не видел бронзовых подсвечников.

Но на самом деле в крохотном помещении лавчонки негде было повернуться, хотя ничего мало-мальски стоящего в ней и не было. На полу, заставленном по всем стенам бесчисленными запыленными рамами для картин, почти не оставалось места. На окне лежали на подносах гайки и болты, старые стамески, перочинные ножи со сломанными лезвиями, потускневшие часы, которые даже не претендовали на точность хода, и разный другой хлам. И только куча всякой всячины, вроде лакированных табакерок и агатовых брошек, лежавших на столике в углу, производила такое впечатление, что среди этих вещей может оказаться что-нибудь интересное. Когда Уинстон подошел к этому столику, его взгляд был привлечен круглой гладкой вещью, мягко поблескивавшей в свете лампы. Он взял ее в руки.

Это был большой кусок стекла, округлый с одной стороны и плоский с другой, образующий почти полушарие. Была какая-то своеобразная мягкость, как у дождевой воды, и в цвете, и в самом строении стекла. В его сердцевине, увеличенной овальной поверхностью, находился странный розовый спиральный предмет, напоминавший розу или морскую анемону.

– Что это такое? – спросил Уинстон зачарованно.

– Это коралл, – сказал старик. – Его привезли скорей всего с Индийского океана. Их обычно вставляли в стекло. Он сделан не меньше, чем сто лет назад. Даже больше, судя по виду.

– Красивая вещь, – сказал Уинстон.

– Красивая, – подтвердил хозяин понимающе. – Но много ли теперь людей, которые согласятся с этим? – Он закашлялся. – Теперь, если вы пожелаете приобрести его, он обойдется вам в четыре доллара. А я помню время, когда за такую вещь можно было получить восемь фунтов, а восемь фунтов это были... не могу сообразить, но это были большие деньги. Но кто в наши дни интересуется настоящей стариной, даже тем немногим, что еще сохранилось?

Уинстон тут же заплатил четыре доллара и опустил заветную вещь в карман. Его привлекала не столько ее красота, сколько то, что от нее веяло духом совсем иного времени. Такого стекла, отливавшего мягкостью дождевой воды, он никогда не видел. Оно было вдвойне прекрасно благодаря явной бесполезности, хотя и можно было догадаться, что когда-то оно служило пресс-папье. Стекло оттягивало карман, но, к счастью, не особенно в нем выделялось. Необычайная, даже компрометирующая для члена Партии вещь! Все старинное, а, значит, и прекрасное, всегда вызывало смутные подозрения. Старик заметно повеселел, получив четыре доллара. Уинстон понял, что он удовлетворился бы тремя или даже двумя.

– Не хотите ли посмотреть еще одну комнату наверху? – сказал он. – Там немного, всего несколько вещей. Я зажгу лампу, если мы пойдем.

Он засветил другую лампу и, согнув спину, пошел вперед показывать дорогу, медленно ступая по крутой, выбитой лестнице. Миновав крохотный проход, они оказались в комнате, выходящей окнами не на улицу, а на мощеный бульжником двор и на крыши с целым лесом дымовых труб. Уинстон обратил внимание на то, что мебель в ней была расставлена так, словно комната еще предназначалась для жилья. – На полу лежала дорожка, на стенах висели две-три картины и глубокое, не очень опрятное кресло было подвинуто к камину. Старомодные часы с двенадцатичасовым циферблатом тикали на камине. У окна, занимая почти четверть комнаты, стояла громадная кровать, на которой еще лежал матрац.

– Мы жили здесь с женой до самой ее смерти, – заметил старик, словно в чем-то оправдываясь, – Я мало-помалу распродаю мебель. Теперь очередь вот за этой прекрасной кроватью красного дерева. Впрочем, она была бы прекрасной, если бы удалось выжить из нее клопов. Но я опасаясь, что она покажется вам слишком громоздкой.

Он держал лампу высоко над головой, чтобы осветить всю комнату, и в ее теплом, тусклом свете помещение выглядело странно-привлекательным. В голове Уинстона мелькнула мысль о том, что, пожалуй, было бы нетрудно снять эту комнату за несколько долларов в неделю, если бы он только мог решиться на подобный риск. Это была дикая, невозможная идея, которую он должен был тут же отбросить; но комната пробудила в нем нечто вроде ностальгии,

вроде родовой памяти. Ему казалось, что он точно знает, как человек чувствовал себя, сидя в такой комнате в глубоком кресле перед пылающим камином, протянув ноги к решетке, – совершенно один, совершенно нетревожимый боязнью, когда никто за ним не следил, никто не преследовал и когда не раздавалось ни единого звука, кроме пения чайника, висевшего на крюке, и приветливого тиканья стальных часов.

– Я не вижу телескрин, – не мог он не прошептать.

– О, – сказал старик, – у меня никогда не было этих штук. Слишком дорого. Да я никогда как-то и не чувствовал нужды в них. А теперь не хотите ли взглянуть на тот столик с откидной доской, что стоит в углу? Однако, вам пришлось бы сменить петли, если бы вы захотели пользоваться доской.

В другом углу стоял маленький книжный шкаф, и Уинстон уже было направился к нему. Но в нем не оказалось ничего, кроме хлама. Охота за книгами и их уничтожение велись в пролетарских кварталах с таким же усердием, как и всюду. Во всей Океании вряд ли имелся хоть один экземпляр книги, изданной до 1960-го года. Старик, все еще державший лампу в руке, стоял перед картиной в раме палисандрового дерева, висевшей по другую сторону камина против кровати.

– Если вы случайно интересуетесь старыми гравюрами, – начал он деликатно, – то вот...

Уинстон подошел посмотреть картину. Это была гравюра на стали, изображавшая овальную форму здания с прямоугольными окнами и с небольшой башенкой впереди. Оно было окружено балюстрадой, а на заднем плане виднелось что-то похожее на статую. Уинстон несколько минут внимательно глядел на здание. Оно казалось ему смутно-знакомым, но статуи он не помнил.

– Рама прикреплена к стене, – сказал старик, – но я мог бы отвинтить ее, если вам угодно.

– Я знаю это здание, – произнес Уинстон наконец. Оно теперь разрушено. Оно стоит посередине улицы против Дворца Правосудия.

– Совершенно верно. Против суда. Его разбомбили... ммм... уже много лет назад. Когда-то оно было церковью. Церковь Святого Климента Датчанина – вот как она называлась. – Он снова улыбнулся, словно извиняясь, что сказал что-то слегка смешное и добавил: – *«Кольца-ленты, кольца-ленты, – зазвенели у Климента».*

– Что такое? – спросил Уинстон.

– О! *«Кольца-ленты, кольца-ленты, – зазвенели у Климента».* Это у нас в детстве был такой стишок. Я уже забыл, как там дальше, но конец помню – «Свечка осветит постель, куда лечь. Сечка ссечет тебе голову с плеч». Это было что-то вроде танца. Играющие брались за руки и поднимали их, а вы бежали в этих воротцах и когда доходили до слов «сечка ссечет тебе голову с плеч» – все опускали руки и старались поймать вас. Эта песенка была просто перечислением церквей. В ней упоминались все лондонские церкви, то есть, главные из них, конечно.

Уинстон старался угадать, какому веку принадлежит церковь. Определить возраст лондонских зданий всегда было трудно. Все большое и внушительное, если только у него был достаточно новый вид, автоматически считалось воздвигнутым после Революции. Все же то, что несомненно выглядело старше, приписывалось смутной эпохе, имевшей название Средних веков. О веках капитализма положительно утверждалось, что они не создали никаких ценностей. Изучение истории по памятникам архитектуры давало ничуть не больше, чем изучение ее по книгам. Статуи, надписи, мемориальные доски, названия улиц, – все, что могло пролить свет на прошлое, подвергалось систематическому изменению.

– А я и не знал, что это была церковь, – сказал Уинстон.

– Их осталось еще довольно много, – ответил старик, – хотя они и используются для других целей. Ну, как же там дальше было в этой песенке? Ага, я припоминаю теперь!

Кольца-ленты, кольца-ленты, – зазвенели у Климента,
Фартинг меньше, чем полтина, – загудели у Мартина.

– А где была церковь Святого Мартина?

– Святого Мартина? Она еще стоит. Это на Площади Победа рядом с картинной галереей. Здание с портиком в виде треугольника, с колоннами по фасаду и с высокой лестницей.

Уинстон хорошо знал здание, о котором говорил старик. Это был музей наглядной пропаганды, с моделями реактивных снарядов и Плавающих Крепостей в масштабе, с восковыми фигурами и панорамами, изображавшими зверства врага, и тому подобным.

– Ее обычно называли Святым Мартином на-Полях, – пояснил старик, – хотя никаких полей в той части города я не упомяну.

Уинстон не купил картины. Это было бы еще более нелепым приобретением, чем стеклянное пресс-папье и к тому же картину никак нельзя было принести домой, не вынув из рамы. Но Уинстон постоял перед ней еще несколько минут, разговаривая со стариком, имя которого оказалось не Уик, как можно было заключить из надписи над фасадом лавочки, а Чаррингтон. Господин Чаррингтон был вдовцом шестидесяти трех лет, из которых тридцать Прожил в этой лавочке. Все эти годы он намеревался сменить надпись над окном, но так и не собрался сделать этого. И пока они беседовали, в ушах Уинстона непрерывно звучали запомнившиеся наполовину слова песенки – «Кольца-ленты, кольца-ленты, – зазвенели у Климента, Фартинг меньше, чем полтина, – загудели у Мартина». Странная вещь: когда вы повторяете это про себя, создавалось впечатление, что вы и в самом деле слышите звон колоколов – колоколов исчезнувшего Лондона, который все еще где-то существовал, замаскированный и позабытый. Казалось, что до Уинстона то с одной призрачной колокольни, то с другой доносился их перезвон. Насколько он припоминал, он никогда не слышал настоящего колокольного звона.

Уходя от Чаррингтона, он постарался сделать так, чтобы старик не провожал его и не заметил, с какими предосторожностями он будет выходить на улицу. Он уже решил, что через некоторое время, скажем – через месяц, снова рискнет зайти сюда. Это, может быть, даже и не опаснее, чем уклониться от посещения Общественного Центра. Самой большой глупостью было, прежде всего, то, что он пришел сюда после покупки дневника и не зная, можно ли доверять хозяину. Но тем не менее...



Тайная вечеря

Тем не менее, – думал он, – он вернется сюда. Вернется и купит еще какую-нибудь безделицу. Купит гравюру Святого Климента Датчанина, вынет из рамы и потихоньку принесет домой под комбинезоном. Он постарается вытянуть из Чаррингтона остальную часть стихотворения. Даже сумасшедшая мысль о найме комнаты наверху снова промелькнула в уме. Подъем духа секунд на пять заставил его забыть об осторожности, и он вышел на тротуар, не посмотрев в окно. Импровизируя мелодию, он начал даже потихоньку мурлыкать:

Кольца-ленты, кольца-ленты, – зазвенели у Климента,
Фартинг меньше, чем полтина, – загудели у Мартина.

И вдруг – словно его швырнули в ледяную воду. Не дальше, чем в десяти метрах от него двигалась фигура в синем комбинезоне. Девушка из Отдела Беллетристики, та самая – черноволосая! День уже угасал, но узнать ее было нетрудно. Она посмотрела прямо в лицо ему, а потом быстро прошла мимо, делая вид, что не заметила его.

Некоторое время Уинстон не мог пошелохнуться. Потом свернул направо и тяжело зашагал прочь, не замечая, что идет не туда. Так или иначе, один вопрос решен. Больше нельзя сомневаться, что девушка шпионит за ним. Скорее всего, она пришла сюда следом за ним; трудно поверить, что она случайно оказалась в тот же самый вечер на той же самой захолустной улице в нескольких километрах от ближайшего квартала, где живут члены Партии. Очень уж необычайное совпадение. И совсем неважно – агентка она Полиции Мысли или добровольная шпионка, желающая выслужиться. Важно, что она следит за ним. Быть может, она видела его и в тот момент, когда он входил в пивную.

Идти было трудно. Кусок стекла в кармане бил по бедру при каждом шаге, и он уже собрался выбросить его. Особенно мучили рези в животе. Одно время ему казалось, что он умрет, если сейчас же не доберется до уборной. Но в таких кварталах, как этот, общественных уборных не было. Затем спазмы прошли, оставив тупую боль.

Улица, по которой он шел, оказалась тупиком. Уинстон остановился на несколько секунд, смутно раздумывая над тем, что делать, потом повернул кругом и пошел обратно той же дорогой. Но тут он вспомнил, что девушка прошла мимо всего три минуты назад, и если сейчас побежать, можно настичь ее. Настичь и где-нибудь в безлюдном месте проломить ей череп булыжником. Тяжелый кусок стекла, лежащий у него в кармане, как раз подойдет для этой цели. Но он тут же оставил этот замысел, потому что даже мысль о малейшем физическом усилии была невыносима. Он не в силах бежать, он не в силах нанести удар. Кроме того, она молода, сильна и будет защищаться. Потом он подумал, не поспешить ли ему в Общественный Центр и не остаться ли там до закрытия, чтобы заручиться хоть некоторым алиби. Но и это было невозможно. Смертельная усталость овладела им. Хотелось только одного – добраться поскорей до дома, сесть и отдохнуть.

Он вернулся в квартиру в двадцать третьем часу. Свет обычно гасился в двадцать три тридцать. Он прошел в кухню и залпом выпил почти полную чашку Джина Победа. Потом сел к столу в нише и вынул из ящика дневник. Но открыл его не сразу. Телескрин передавал надрывное дребезжащее пение какой-то девицы, исполнявшей патриотическую песню. Уинстон сидел, уставившись на тетрадь в мраморной обложке и тщетно стараясь выключить из сознания металлический голос.

Они приходят ночью, всегда ночью. Самое правильное – покончить с собой до того, как вас схватят. Несомненно, некоторые так и поступали. Многие из исчезнувших на самом деле покончили с собой. Но надо обладать мужеством отчаяния, чтобы убить себя в таких условиях, когда совершенно невозможно достать ни огнестрельного оружия, ни верных, быстро действующих ядов. С некоторым недоумением он подумал о биологической бесполезности боли и страха и о вероломстве человеческого организма, который замирает в инерции в тот самый момент, когда необходимо особое усилие. Он мог бы заставить замолчать эту черноволосую, если бы действовал быстро, но именно в минуту крайней опасности он и потерял способность действовать. Его поразила мысль, что в критический момент никто никогда не борется с внешним врагом, а лишь с самим собою. Даже сейчас, несмотря на джин, тупая боль в желудке мешала ему думать последовательно. И так всегда, – размышлял он, – во всех обстоятельствах, кажущихся героическими или трагическими. На поле битвы, в камере пыток, на тонущем корабле – всюду забывается то, за что вы боретесь, потому что всю вселенную закрывает собою необычайно разрастающееся в такую минуту тело; и даже когда вы не парализованы страхом и не вопите от боли, жизнь есть постоянная борьба с голодом, холодом, с недосыпанием, с изжогой или зубной болью.

Он открыл дневник. Необходимо было записать нечто важное. Девица запела другую песню. Голос ее, казалось, вонзался в мозг, как зазубренный осколок стекла. Он старался думать об О'Брайене, кому и для кого он писал дневник, но вместо этого стал думать о том, что с ним произойдет, когда Полиция Мысли схватит его. Страшно не то, что вас убьют – этого вы ждете. Но, прежде чем вы умрете (никто не говорит о таких вещах, но все знают), вы должны пройти обычные допросы, а допрос – это пресмыкание у ног и вопли о пощаде, треск сломанных костей, выбитые зубы и окровавленные клочья волос. Для чего все эти муки, если конец заранее известен? Почему нельзя вычеркнуть из вашей жизни несколько дней или недель? Никому еще не удалось остаться неразоблаченным, и все сознавались. Раз уж вы не удержались от преступления мысли, вы обречены на смерть. Зачем же тогда весь этот ужас, который ничего не изменяя, будет жить века?

Несколько успешнее, чем прежде он снова постарался вызвать образ О'Брайена. «Мы встретимся в царстве света», – говорил ему О'Брайен. Он понимает значение этих слов, или надеется, что понимает. Царство света – это будущее. Будущее, которого никто не увидит, но где каждый таинственным предвидением обретает свое место. Голос, надоедливо визжавший из телескрина, мешал думать дальше. Он взял сигарету. Половина табаку сейчас же высыпалась

на язык – горькая пыль, которую не удавалось выплюнуть. На смену О’Брайену всплыло лицо Старшего Брата. Как несколько дней тому назад, он вытащил из кармана монету и посмотрел на нее. Перед ним было спокойное, сильное, покровительственное лицо, но что за усмешка таилась под черными усами! И, как тяжелый похоронный звон, он снова услышал:

ВОЙНА – ЭТО МИР
СВОБОДА – ЭТО РАБСТВО
НЕВЕЖЕСТВО – ЭТО СИЛА

Часть вторая

I

Часов в десять утра Уинстон вышел из своей кабинки, направляясь в уборную.

Из другого конца длинного, ярко освещенного коридора двигалась навстречу ему одинокая фигура. Это была брюнетка из Отдела Беллетристики. Четыре дня прошло с тех пор, как он повстречался с ней у лавки старьевщика. Когда она подошла ближе, он увидел, что одна рука у нее подвязана. Повязка была одного цвета с комбинезоном и не видна, на издалека. Должно быть девушка повредила руку, крутя один из больших калейдоскопов, на которых «набрасывались» сюжеты романов. Такие происшествия были обычным делом в Отделе Беллетристики.

Их разделяло метра четыре, не больше, как вдруг девушка споткнулась и почти навзничь повалилась на пол. У нее вырвался резкий крик боли. Несомненно, она упала прямо на больную руку. Уинстон на миг остановился. Девушка поднялась на колени. Ее лицо стало изжелта-белым, отчего рот казался еще более алым, чем всегда. Она умоляюще смотрела на Уинстона, и в выражении ее глаз было, пожалуй, больше страха, чем боли.

Странные, разнородные чувства прихлынули к сердцу Уинстона. Перед ним был враг, стремившийся погубить его; но перед ним было и человеческое существо, страдавшее от боли, быть может, от мучительной боли перелома. И он уже инстинктивно кинулся ей на помощь. В тот миг, когда он увидел, что она упала на забинтованную руку, он словно ощутил боль в собственном теле.

– Вы повредили что-нибудь?

– Ничего... Рука... Сейчас это пройдет.

Она говорила прерывающимся от волнения голосом. И в самом деле, она была очень бледна.

– Ничего не сломали?

– Ничего. Было немножко больно... Сейчас лучше.

Она протянула ему здоровую руку, и он помог ей подняться. Ее лицо снова порозовело и, по-видимому, она чувствовала себя много лучше.

– Ничего, – повторила она коротко. – Я только слегка ушибла руку. Спасибо, товарищ.

– С этими словами она быстро направилась дальше своим путем, как будто, в самом деле, ничего не случилось. Весь инцидент продолжался не больше полминуты. Умение сдерживать свои чувства к не позволять им отражаться на лице давно стало привычкой, если не инстинктом. Кроме того, в момент происшествия они находились прямо перед телескрином. И все же было очень трудно ничем не выдать изумления, охватившего его на две-три секунды, когда, помогая девушке подняться, он вдруг ощутил, что она что-то сует ему в руку. Несомненно, она делала это намеренно. Это был какой-то маленький плоский предмет. Входя в уборную, Уинстон сунул его в карман и ощупал. Предмет оказался свернутым в квадрат кусочком бумаги.

Стоя перед писсуаром, Уинстон кое-как ухитрился развернуть его в кармане. Несомненно, это было какое-то послание. На миг им овладел соблазн – зайти в один из клозетов и тут же прочитать письмо. Но он хорошо знал, что это было бы невероятной глупостью. Ни об одном другом месте нельзя было сказать с большей уверенностью, что оно находится под постоянным наблюдением телескрина, чем о клозете.

Он вернулся в кабинку, сел, ловко сунул записку в грудку бумаг, лежавших на столе, надел очки и придвинул диктограф. «Пять минут, – твердил он про себя, – по крайней Мере пять минут». Ужасно громко колотилось сердце. К счастью, работа, которой он занимался, – под-

делка длинной колонки цифр, – не представляла ничего особенного и не требовала большого внимания.

Конечно, записка имела какое-то политическое значение. Пока он предвидел только две возможности. Первая, и самая вероятная, та, что девушка, как он и опасался, – агентка Полиции Мысли. Он не знал, почему Полиция Мысли избрала такой способ, чтобы передать ему свое распоряжение, но, очевидно, у нее были на то свои соображения. Записка могла содержать угрозу, вызов, приказ покончить с собой, а может быть, и какую-то ловушку. Но возникла и другая дикая догадка, которую он тщетно гнал от себя. Что, если послание исходило не от Полиции Мысли, а от какой-нибудь подпольной организации? Что, если Братство в самом деле существует, и девушка принадлежит к нему? Мысль – абсурдная, но именно она первой пришла ему в голову, когда он ощутил в руке бумажку. Только позднее, через несколько минут, явилось другое, более правдоподобное объяснение. Однако даже и теперь, уже сознавая, что записка может означать для него смерть, он все еще не верил этому и, хотя безосновательно, но упорно на что-то надеялся. Сердце билось, и он с трудом сдерживал дрожание голоса, бормоча свои цифры в диктограф.

Он свернул и сунул в пневматическую трубу готовую пачку бумаг. Прошло уже восемь минут. Он поправил на носу очки, перевел дыхание и потянул к себе новую кипу бумаг, на которой сверху лежала записка. Он развернул ее. Крупным, детским почерком там было написано:

Я люблю вас.

Он был так ошеломлен, что не сразу догадался выбросить компрометирующий документ в щель-напоминатель. И, прежде чем сделать это, не удержался и перечитал письмо, желая убедиться, что не ошибся, хотя и знал, как опасно проявлять слишком большой интерес к бумагам.

Всю остальную часть утра работать было очень трудно. Трудно было сосредоточиться на пустой работе и еще труднее скрыть свое волнение от телескрин. Он весь словно горел в огне. Обед в душном, переполненном людьми и шумном буфете был просто мученьем. Он рассчитывал хоть немножко посидеть один во время обеденного перерыва, но, как назло, слабоумный Парсонс плюхнулся рядом и принялся без умолку говорить о подготовке к Неделе Ненависти. От него так разлило потом, что металлический запах гуляша почти не чувствовался. С особенным энтузиазмом Парсонс рассказывал о том, как Отряд Юных Шпионов, к которому принадлежала его дочка, готовит к Неделе Ненависти двухметровый макет головы Старшего Брата из папье-маше. Уинстона больше всего раздражало, что за гулом голосов он почти не слышал глупых разглагольствований Парсонса и должен был все время переспрашивать. Только один раз мельком он увидел девушку, сидевшую с двумя другими в дальнем конце комнаты. Казалось, что она не замечает его, и он больше не смотрел в ее сторону.

После полудня стало легче. Как только он вернулся с обеда, к нему поступила трудная и тонкая работа, которой нужно было посвятить несколько часов, отложив все остальное. Нужно было так подделать несколько сообщений (двухлетней давности) о производстве товаров, чтобы набросить тень на видного члена Внутренней Партии, находившегося теперь в немилости. В таких вещах Уинстон был силен, и часа на два ему удалось совершенно изгнать образ девушки из головы. Потом этот образ вернулся, и вернулось неистовое, нестерпимое желание остаться одному. Пока он не останется один, нельзя обдумать до конца создавшуюся ситуацию. Вечером надо было идти в Общественный Центр – сегодня был его клубный день. С жадностью волка он проглотил безвкусный ужин в буфете, помчался в Центр, посидел на торжественно-глупом заседании «дискуссионной группы», сыграл две партии в пинг-понг, выпил несколько стаканов джина и с полчаса провел на лекции на тему «Ангсоц и игра в шахматы». Он изнывал от скуки, но не испытывал на этот раз желания удрать с вечера. Слова «я люблю

вас» пробудили в нем желание жить, оставаться в живых, и малейший риск внезапно стал казаться глупостью. Лишь около двадцати трех часов он очутился дома, в постели, в темноте, неувлиимый – пока он молчал – даже для телескрина, и мог подумать обо всем как следует.

Вопрос о том, как снестись с девушкой и назначить свидание, наталкивался на чисто технические трудности. Он не думал больше, что она готовит какую-то ловушку. Он знал, что это не так – видел по тому, как она волновалась, передавая записку. Ясно, что она сама была в ужасе от своей выдумки – и не без основания, конечно. Ни минуты он не думал и о том, чтобы отклонить ее предложение. Всего пять ночей тому назад он собирался размозжить ей голову булыжником. Но теперь и это не имело значения. Ее молодое обнаженное тело, каким он видел его во сне, стояло перед ним. Как и все женщины, она представлялась ему глупой, начиненной ложью и ненавистью, с чревом, набитым льдом. Но при мысли о том, что он может потерять ее, что ее белое молодое тело ускользнет, его охватывала лихорадка. Больше всего он опасался, что она может просто передумать, если он не сумеет достаточно быстро найти путь к ней. А это так невероятно трудно! Так же трудно, как сделать шахматный ход, когда вы уже заматованы. Куда ни повернись – везде телескрины. В сущности, все возможные способы встречи с нею промелькнули у него в сознании в те пять минут, пока он читал и перечитывал ее письмо; теперь он снова, не спеша, перебирал их один за другим, словно раскладывал в ряд инструменты на столе.

Совершенно очевидно, что встреча, подобная сегодняшней, не может повториться. Встретиться, пожалуй, было бы нетрудно, если бы девушка работала в Отделе Документации, но он едва представлял, где находится Отдел Беллетристики, и у него не было никакого повода пойти туда. Или, если бы он знал, где она живет и когда кончает работу, он, возможно, мог бы подстеречь ее где-нибудь на дороге; но стараться просто выследить ее при выходе из здания опасно.

Это значит слоняться без дела возле Министерства, что не может пройти незамеченным. О письме он даже не думал: ни для кого не секрет, что все письма вскрываются. Лишь очень немногие пользуются услугами почты. При этом приходится прибегать к открыткам с большим количеством готовых фраз, из которых нужно только вычеркнуть неподходящие. Кроме того, он не знал ни имени девушки, ни адреса. В конце концов, он решил, что самое безопасное место для встречи – буфет. Если он сумеет поймать ее за столом одну где-нибудь посередине комнаты, подальше от телескрина и если в помещении в этот момент будет достаточно шумно, – если все это продлится, скажем, секунд тридцать, – можно будет перекинуться несколькими словами.

Всю следующую неделю жизнь была, как неустанная мечта. На другой день она пришла в буфет после свистка, когда Уинстон уже уходил: видимо, ее перевели в более позднюю смену. Встретившись на ходу, они даже не поглядели друг на друга. Днем позже она была в буфете в обычное время, но в компании трех других девиц, и сидели они прямо под телескрином. Затем, в течение трех ужасных дней, она совсем не появлялась. Его душа и тело изнывали от нестерпимой чувствительности, прозрачности чувств, превращавшей всякое движение, всякий звук, всякое прикосновение и всякое слово, которое он слышал или произносил, в страдание. Даже во сне ее образ не оставлял его. В эти дни он не прикасался к дневнику. Облегчение приносила только работа, в которой он иногда минут на десять забывался. Он не имел ни малейшего понятия о том, что с ней случилось. И не было возможности навести справки. Ее могли распылить, могли перевести в другой конец Океании; она могла покончить с собой или, – что хуже всего, – могла просто передумать и решила избегать его.

Потом она снова появилась. На руке у нее больше не было повязки, и только на запястье оставался яркий пластырь. Чувство облегчения, охватившее Уинстона, когда он увидел ее, было так велико, что он не мог сдержаться и несколько секунд смотрел на нее прямо в упор. На следующий день он чуть было не изловчился подсесть к ней. Когда он вошел в буфет, она

сидела одна довольно далеко от телескрина. Было еще рано, народ только собирался. Очередь подвигалась, и Уинстон почти уже дошел до стойки, но тут задержался минуты на две, потому что кто-то впереди стал жаловаться, что ему не дали сахарина. Однако, когда Уинстон получил поднос, девушка все еще была одна. С безразличным видом он шел к ней, отыскивая глазами место за ближайшим столиком. Оставалось метра три, как вдруг чей-то голос позади позвал: «Смит!» Он притворился, что не слышит. «Смит!» – повторил голос громче. Притворяться дальше было бесполезно. Он повернулся. Блондин по имени Уилшер, которого он едва знал, с улыбкой на глупом лице звал его к столу, указывая на свободное место. Отказаться было опасно. После того, как его окликнули, он не мог уйти и сел рядом с девушкой. Это бросилось бы всем в глаза. Он сел с дружеской улыбкой на лице. Глупая белобрысая физиономия Уилшера сияла. Уинстону живо представилось, как он лупит молотом по этой дурацкой морде. Через несколько минут все места за столом девушки были заняты.

Но, она, конечно, видела, как он шел к ней и должна была понять положение. На другой день он постарался прийти раньше. И, действительно, она сидела почти там же и опять одна. Прямо перед ним в очереди стоял маленький подвижной жукообразный человечек с плоским лицом и крохотными бегающими глазками. Когда Уинстон повернулся от стойки с подносом в руках, он увидел, что человечек идет прямо к девушке. Его надежды снова рухнули. Правда, за столом немного позади нее тоже было свободное место, но что-то в поведении человечка заставляло предполагать, что, ввиду собственного удобства, он постарается сесть к самому свободному столику. С заледеневшим сердцем Уинстон шел за ним. Это было бесполезно, потому что все равно он уже не мог поймать девушку одну. И вдруг раздался грохот!

Человечек растянулся на полу, поднос полетел в сторону, и по комнате двумя ручьями побежали суп и кофе. Кидая злобные взгляды на Уинстона, которого он, видимо, подозревал в том, что тот подставил ему ножку, человечек поднялся. Не обращая на него внимания, Уинстон прошел мимо. Через пять секунд с трепещущим сердцем он сидел рядом с девушкой.

Он не взглянул на нее. Разгрузив поднос, он тут же принялся за еду. Надо было пока никто не подошел, начать разговор, но его вдруг охватил неодолимый страх. Прошла неделя с того дня, как она передала письмо. За это время она могла передумать, вероятно, передумала! Невозможно допустить, что это дело кончится успешно – в жизни таких вещей не бывает. Он, по-видимому, так бы и молчал, если бы не увидел случайно Амплефорса, поэта с волосатыми ушами, беспомощно блуждавшего с подносом в руках по комнате в поисках места. Амплефорс как-то бессознательно, по-своему, был привязан к Уинстону и, конечно, сел бы рядом, если бы его увидел. Для действий оставалась, может быть, всего одна минута. И Уинстон, и девушка продолжали есть. То, что они ели, называлось гуляшом, но на самом деле это был суп с фасолью. Уинстон первый шепотом начал разговор. Ни один из них не поднял глаз. Они медленно черпали водянистую массу и отправляли ее в рот, обмениваясь в промежутках немногими необходимыми короткими словами, которые они произносили без всякого выражения.

– Когда вы уходите с работы?

– В восемнадцать тридцать.

– Где мы можем встретиться?

– На Площади Победы у памятника.

– Там полно телескринов.

– Когда много народу, это не опасно.

– Будет сигнал?

– Нет. Не подходите, пока не увидите меня в толпе. И не смотрите на меня. Только держитесь поблизости.

– Время?

– Девятнадцать.

– Хорошо.

Амплефорс так и не заметил Уинстона и уселся за другим столом. Девушка быстро доела обед и сейчас же ушла, а Уинстон остался покурить. Они больше не разговаривали и, насколько это возможно для людей, сидящих за одним столом, не смотрели друг на друга.

Уинстон был на Площади Победы раньше назначенного времени. Он бродил у подножья громадной дорической колонны, с вершины которой Старший Брат устремлял взор на юг, в небеса – туда, где в битве за Первую Посадочную Полосу он сокрушил евразийскую авиацию (давно ли это была авиация Истазии?). Напротив, через улицу высилась другая фигура – всадника, изображавшая, по-видимому, Оливера Кромвеля. В девятнадцать пять девушка все еще не появлялась. Снова ужасный страх обуял Уинстона. Она не пришла, она передумала! Он медленно побрел по площади на север. С оттенком удовольствия он узнал церковь Св. Мартина, колокола которой (когда на ней были колокола) звонили: «Фартинг меньше, чем полтина...» Потом он увидел девушку. Она стояла у постамента памятника и читала или притворялась, что читает плакат, спиралью обвивавший колонну. Было опасно подходить к ней, пока не соберется больше народа. Повсюду были телескрины. В этот миг откуда-то слева донесся шум голосов и грохот тяжелых повозок. Внезапно все устремились куда-то через площадь. Девушка живо обежала львов на постаменте и влилась в общий поток. Уинстон последовал за ней. На бегу, из отдельных громких замечаний, он узнал, что везут партию евразийских пленных.

Плотная людская масса уже успела забить южную часть площади. Уинстон, обычно избегавший всякой сутолоки, работая локтями и головой и извиваясь, как червяк, проталкивался в самую гущу народа. Скоро он оказался на таком расстоянии от девушки, что мог дотянуться до нее рукою, но дальше путь загромождали громадного роста прол и такая же громадная женщина, вероятно, жена этого гиганта. Вместе они образовывали несокрушимую живую стену мяса. Уинстон откинулся назад и с размаху сильным рывком втиснулся между ними. С минуту у него было такое чувство, что все его внутренности расплющены двумя мощными бедрами. Затем, слегка даже вспотев от напряжения, он прорвался вперед. Он был рядом с девушкой. Стоя плечом к плечу, они пристально смотрели прямо перед собою.

Длинная колонна грузовиков медленно тянулась по улице. На каждой машине по углам стояли вооруженные автоматами охранники с каменными лицами. Низкорослые желтокожие люди в потрепанных зеленоватого цвета шинелях, тесно сгрудившись, сидели на корточках в кузовах автомобилей. Их скорбные монгольские лица, с глазами, устремленными поверх бортов машины, были удивительно бесстрастны. Время от времени, когда грузовики подбрасывало, раздавался звон металла: все пленники были закованы в кандалы. Лица проплывали за лицами. Уинстон видел и не видел их. Плечо и рука девушки были прижаты к нему. Он почти чувствовал тепло ее щеки. Она немедленно взяла инициативу в свои руки. Едва шевеля губами, она заговорила невыразительным тоном и так тихо, что ее шепот легко заглушался гулом голосов и грохотом автомобилей.

– Вы слышите меня?

– Да.

– Можете поехать за город в воскресенье?

– Да.

– Тогда слушайте внимательно. Старайтесь запомнить. Поезжайте на Поддингтонский вокзал...

С точностью военного человека, изумившей его, она принялась описывать маршрут. Полчаса езды на поезде; поворот налево при выходе со станции; два километра по дороге; сломанные ворота; полевая дорога; поросший травой, заброшенный прогон; тропинка в кустах; сухое мшистое дерево... Словно у нее перед глазами была карта. «Вы все запомните?» – прошептала она наконец.

– Запомню.

– Повернете налево, потом направо и опять налево. Ворота сломаны.

– Понимаю. Время?

– Около пятнадцати. Возможно, вам придется подождать. Я приду другой дорогой. Вы уверены, что все запомнили?

– Все.

– Тогда уходите от меня сейчас же.

Этого можно было и не говорить. Но выбраться из толпы в этот момент было невозможно. Грузовики все еще шли, и народ жадно глазел. Вначале кое-где слышны были свист и шиканье, но свистели только члены Партии, затесавшиеся в толпу, да и они скоро замолкли. Преобладало простое любопытство. Иностранцы – как истазиаты, так и евразийцы – были просто чем-то вроде диковинных животных. Их никогда не видели иначе, как в одежде пленных, да и как пленных видели только мгновение. Никто не знал, что с ними происходит. За исключением тех, кого публично вешали как военных преступников, все остальные просто исчезали, – надо думать, в концентрационных лагерях. Круглые монгольские лица сменились лицами европейского типа, но грязными, бородатыми и изнуренными. Время от времени с обросшего лица на Уинстона вдруг устремлялся со странным напряжением чей-то взгляд и тотчас же потухал. Эшелон подходил к концу. На последнем грузовике Уинстон увидел пожилого человека, лицо которого обрамляла седина. Он стоял, прямой как столб, скрестив руки на животе, с таким видом, словно давно привык к тому, что они должны быть связаны. Однако, пора было расставаться. Но в последний миг, когда толпа еще стискивала их, рука девушки нашла руку Уинстона и легко пожала ее.

Казалось, что пожатие длилось целую вечность, хотя на самом деле оно не могло продолжаться больше десяти секунд. И он успел изучить каждую мелочь на ее руке. Он обнаружил длинные пальцы, приятной формы ногти, твердую ладонь работающего человека с рядом мозолей, гладкую кожу ниже запястья. Он теперь узнал бы эту руку, увидав ее. В тот же миг он подумал, что не знает, какие у нее глаза. Скорее всего карие, но ведь у брюнеток бывают и голубые. Повернуться и посмотреть – значит сделать невообразимую глупость. Так они и стояли, взявшись за руки, которых никто не видел в давке, и глядя прямо перед собой, и, вместо девичьих глаз, на Уинстона горестно смотрели из лохматых гнезд глаза старика-пленного.

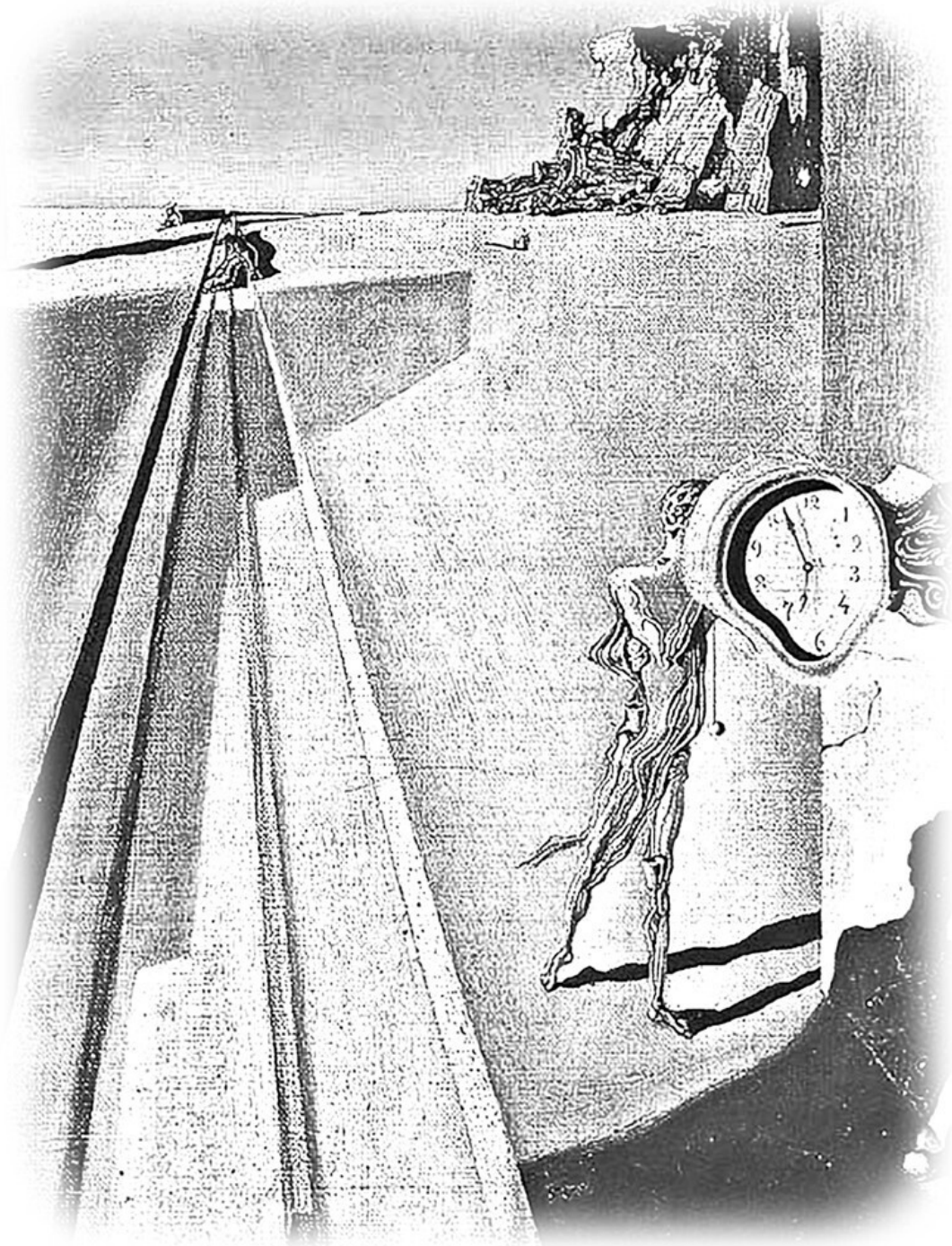
II

Уинстон шел по тропинке, испещренной пятнами света и тени. Там, где ветви расступались, он словно окунался в золотой поток. Слева под деревьями земля была подернута голубоватой мглой от несметных колокольчиков. Воздух нежно ласкал кожу. Было второе мая. Откуда-то из глубины леса доносилось воркование голубей.

Он пришел раньше назначенного времени. Путешествие было нетрудным. Он скоро убедился, что девушка отлично знала маршрут и не испытывал большего страха, чем обычно. По-видимому, можно было верить и тому, что она способна найти безопасное место. Вообще, за городом было не безопаснее, чем в Лондоне. Конечно, телескринов в деревне не было, но всегда следовало остерегаться спрятанных микрофонов, с помощью которых могли подслушать и узнать ваш голос. Кроме того, если вы отправлялись за город один, вы не могли не привлечь к себе внимания. Для поездки на расстояние до ста километров предъявлять паспорта не требовалось, но на станциях иногда болтались патрули. Они проверяли документы членов Партии и задавали щекотливые вопросы. На этот раз, однако, патруль не встретился и, бросив осторожный взгляд назад при выходе со станции, Уинстон убедился в том, что за ним не следят. Поезд был переполнен пролами, находившимися по случаю летней погоды в праздничном настроении. Вагон с деревянными скамейками был набит до отказа пассажирами, которые все оказались членами одной, необычайно многочисленной семьи – от беззубой прабабушки до

месячного ребенка. Они ехали в деревню, чтобы провести праздник «с родней» и для того, чтобы (как они искренне признались Уинстону) раздобыть немножко масла на черном рынке.

Дорога расширилась, и через минуту Уинстон подошел к тропинке, о которой говорила девушка. Скорее это был просто прогон, уходивший временами в заросли. У Уинстона не было с собою часов, но он знал, что трех еще быть не могло. Колокольчики так густо покрывали землю под ногами, что невозможно было не ступить на них. Он опустился на колени и принялся собирать их, частью для того, чтобы убить время, частью со смутным намерением поднести девушке цветы, когда они встретятся. Он уже набрал довольно большой букет и, погрузив в него лицо, вдыхал его слабый, но дурманящий аромат, когда какой-то звук позади заставил его застыть на месте. Несомненно, где-то хрустнула ветка под ногами. Он принялся снова рвать цветы. Больше ничего не оставалось делать. Это могла быть девушка, но, в конце концов, возможно, что за ним и следили. Оглянуться – значит показать, что ты чувствуешь себя в чем-то виновным. Он рвал и рвал цветы. Чья-то рука коснулась его плеча.



Преждевременное окостенение станции

Он поднял глаза. Это была девушка. Она повела головой, словно предостерегала, чтобы он молчал, потом раздвинула кусты и быстро пошла вперед по узкой тропинке в лес. Очевидно она бывала тут раньше, потому что обходила вязкие рытвины словно по привычке. Уинстон шел за ней, все еще держа букет в руке. В первую минуту он испытал чувство облегчения. Но теперь, глядя на двигавшуюся перед ним сильную и стройную фигуру девушки, туго перехваченную алым кушаком, который подчеркивал красивую форму ее бедер, он снова ощутил свою неполноценность. Даже и теперь, – думал он, – она, пожалуй, может убежать, если оглянется и как следует посмотрит на него. Свежесть воздуха и зелень листвы пугали и обескураживали

его. Еще по дороге со станции в лучах майского солнышка он стал казаться себе грязным и бесцветным, – каким-то комнатным существом с липкой лондонской пылью в каждой поре тела. Вероятно, она еще ни разу не видела его при полном дневном свете, – промелькнуло у него.

Они подошли к упавшему дереву, о котором она тоже упоминала. Девушка перепрыгнула через него и нырнула в кусты, где не видно было никакого просвета. Но когда Уинстон последовал за ней, он вдруг оказался на поляне, на крошечном зеленом холмике, окруженном молодой высокой порослью, почти скрывавшей его от глаз. Девушка остановилась и обернулась.

– Вот мы и пришли, – сказала она.

Их разделяло несколько шагов. Он не осмеливался подойти к ней.

– Я не хотела говорить раньше, – продолжала она, – потому что там могли быть микрофоны. Я не думаю, что они есть, но ничуть не удивлюсь, если окажутся. Всегда можно ожидать, что какая-нибудь свинья распознает ваш голос. А здесь мы в безопасности.

У него все еще недоставало смелости подойти.

– В безопасности? – глупо повторил он.

– Да. Взгляните на эти деревья.

Вокруг поляны стеной стояли ясени. Когда-то они были срублены, но потом снова выросли в лес стволов не толще человеческой руки.

– Здесь нет ни одного деревца, в котором можно было бы спрятать микрофон. Впрочем, я тут бывала раньше и знаю...

Она говорила просто, чтобы поддержать разговор. Он подошел поближе. Она выпрямившись стояла перед ним, и на ее лице блуждала легкая ироническая усмешка, как бы говорившая: «ну, что же ты медлишь?» Колокольчики вдруг дождем посыпались на землю. Казалось, что они посыпались сами собою, без всякой причины. Он взял ее за руку.

– Поверите ли, – сказал он, – поверите ли, что я до сих пор не знал, какие у вас глаза.

Глаза были карие. Светло-карие с темными ресницами.

– Теперь, – продолжал он, – когда вы тоже видите, каков я на самом деле, вы, действительно, все еще можете смотреть на меня?

– Охотно.

– Мне тридцать девять лет. У меня была жена, от которой я и до сих пор не избавился. У меня варикозная язва и пять вставных зубов.

– Какое это имеет значение!

В следующий миг, – кто мог бы сказать, по чьему желанию и по чьей воле? – она оказалась у него в объятиях. Вначале он просто не верил себе. Молодое тело льнуло к нему, волна черных волос хлынула ему на лицо, и вот – да, это было, было! – она подняла к нему лицо, и он поцеловал большой алый рот. Она обвивала руками его шею, называла его дорогим, бесценным, любимым. Он стал опускать ее на землю. Она совершенно не сопротивлялась, и он мог делать с нею что угодно. Но ему не нужно было ничего, кроме простого общения. Он гордился тем, что все это произошло, изумлялся этому и радовался, но у него не было физического желания. Все случилось слишком быстро; ее молодость и красота пугали его, он слишком привык жить без женщины, сам не зная, как и почему привык. Девушка поднялась и стала выбирать из волос запутавшиеся в них колокольчики. Она села рядом, обняв его за талию.

– Ничего, мой дорогой. Спешить некуда. У нас целый день впереди. Как вам нравится этот уголок? Я набрела на него случайно, заблудившись однажды на экскурсии. Если кто-нибудь будет подходить, мы услышим за сотню метров.

– Как ваше имя? – спросил Уинстон.

– Юлия. Ваше я знаю. Вы – Уинстон. Уинстон Смит.

– Как вы узнали?

– Мне кажется, дорогой, я в таких вещах сильнее вас. Скажите, что вы думали обо мне до моей записки?

Ему не хотелось лгать. Это даже своего рода жертва на алтарь любви – начать с худшего.

– Мне был ненавистен весь ваш вид, – признался он. – Мне хотелось изнасиловать вас и зарезать. Две недели тому назад я серьезно собирался разmozжить вам голову булыжником. По правде говоря, я думал, вы имеете какое-то отношение к Полиции Мысли.

Девушка с восторгом расхохоталась, очевидно, принимая это за высший комплимент своему дару притворства.

– К Полиции Мысли! Нет, правда вы так думали?

– Ну, может быть, и не совсем так. Но по всему вашему виду, просто потому, что вы такая молодая, цветущая, здоровая... вы понимаете?... я думал, что, быть может...

– Вы думали, что я стопроцентная партийка? Целомудренная и в мыслях, и на деле. Знамена, демонстрации, лозунги, игры, массовые вылазки – все, как и полагается. И вы, конечно, думали, что я, при первом случае, выдам вас на смерть как преступника мысли?

– Что-то в этом роде. Большинство девушек таковы, – вы сами знаете.

– А все вот из-за этой гадости! – воскликнула она, срывая алый кушак Антиполовой Лиги и швыряя его в кусты. Потом, словно прикосновение к комбинезону о чем-то напомнило ей, сунула руку в карман и вытащила маленькую плитку шоколада. Разломив ее пополам, она протянула одну половинку Уинстону. Еще не успевши взять ее, он по запаху узнал, что это совсем необычный шоколад. Он был темен, блестящ и обернут в серебряную бумагу. Обычно шоколадом называлась тускло-коричневая крошащаяся масса, вкус которой, – поскольку его вообще можно было определить, – походил на вкус дыма мусорной свалки. Впрочем, когда-то Уинстону приходилось пробовать шоколад вроде того, каким его угощала девушка. И первая же струйка его аромата пробудила в нем сильное беспокойное чувство, которое никак не удавалось выразить.

– Где вы его достали? – спросил он.

– На черном рынке, – небрежно ответила она. – А вы знаете: я ведь в самом деле такова, какой кажусь. Я хорошая спортсменка. Я была руководительницей отряда в Юных Шпионах. Три вечера в неделю я занята общественной работой в Антиполовой Лиге Молодежи. Часами я расклеиваю по городу ее гнусные плакаты. Я всегда несу одно древко знамени на демонстрации, всегда выгляжу бодрой и жизнерадостной, всегда ору вместе со всеми и никогда не уклоняюсь ни от какой работы. Это – единственный способ уцелеть.

Первый кусочек шоколада растаял у Уинстона на языке. Какой восхитительный вкус! А воспоминание все еще шевелилось где-то на грани Сознания – острое, беспокойное, но вместе с тем такое, что его нельзя было отлить в определенную форму, как предмет, улавливаемый лишь уголком глаза. Он постарался отогнать его от себя, хотя и понимал, что ему очень хочется восстановить в памяти событие, которое каким-то образом связывалось с запахом шоколада.

– Вы очень молоды, – снова заговорил он. – Вы, по крайней мере, десятью или пятнадцатью годами моложе меня. Что могло привлечь вас во мне?

– Что-то такое в вашем лице... Я хорошо распознаю людей. И я решила, что могу рискнуть. Как только я увидела вас я поняла, – что вы против них.

Это «них» прозвучало как «Партия», даже почти как «Внутренняя Партия», о которой она говорила с нескрываемым злобным сарказмом. Уинстону стало не по себе, хотя он и знал, что если где-нибудь и можно было чувствовать себя в безопасности, то именно здесь. Его изумляла грубость ее языка. Членам Партии рекомендовалось избегать ругательств, и Уинстон сам ругался очень редко – вслух, по крайней мере. Юлия же, казалось, совершенно не могла говорить о Партии, особенно о Внутренней Партии, не прибегая к словам, которые пишутся только на заборах в переулках. Но это не отталкивало его. Это был просто симптом ее бунта против Партии и всего, что связывалось с нею, и казалось почему-то естественным, как фырканье

лошади, почуявшей скверное сено. Они поднялись и снова побрели по дороге, испещренной пятнами света и тени. Там, где тропинка была достаточно широка, они шли обнявшись. Он заметил, насколько мягче стала ее талия, после того, как она скинула кушак. Они говорили только шепотом. Уходя с поляны, Юлия посоветовала не разговаривать совсем. Вскоре они вышли на опушку. Девушка взяла Уинстона за рукав.

– Не выходите. Тут могут следить. Пока мы здесь, нас не видно.

Они стояли в кустах орешника. Лучи солнца, просачиваясь сквозь листву, все еще были горячи. Уинстон бросил взгляд на поле, расстилавшееся перед ним, и вдруг почувствовал, что узнает его. Старое, потравленное пастбище, с бегущей по нему тропинкой и с кротовинами то здесь, то там. На противоположной стороне за неровной живой изгородью слабо покачивались под легким ветерком ветви вязов, шевеля густой массой листьев, словно космами женских волос. Несомненно, где-то тут, рядом, должен пробегать ручей с зелеными заводьями, в которых играют ельцы.

– Есть тут поблизости ручей? – прошептал он.

– Есть. На другом конце поля. А в ручье – рыба, и довольно крупная. Можно даже видеть, как она стоит в заводях под ивами, шевеля плавниками.

– Совсем как в Золотой Стране!..

– В Золотой Стране? – удивилась Юлия.

– Ничего, дорогая, пустяки... Просто я припоминаю пейзаж, который иногда видел во сне.

– Смотрите! – шепнула Юлия.

Не больше, чем в пяти метрах от них и почти на уровне глаз опустился на ветку дрозд. Он, должно быть, не заметил их: он был на солнце, они – в тени. Он распустил крылья, бережно уложил их на место, наклонил на минутку голову, словно сделал солнцу реверанс, и вдруг залился буйной песней. В полуденной тишине сила звука пугала своей неожиданностью. Уинстон и Юлия зачарованно прильнули друг к другу. Минуты бежали, а песня все лилась и лилась, удивительно варьируясь, никогда не повторяясь, словно певец старался показать все свое искусство. Иногда он замолкал на несколько секунд, распускал и укладывал крылья, раздувал крапчатую грудку и опять взрывался песней. Уинстон наблюдал за ним почти с благоговением. Для кого и для чего пел дрозд? Никто его не слушал – ни подруга, ни соперник. Что заставляло его сидеть тут, на опушке уединенного леса и изливать свою песню в пустоту? Уинстон подумал, что в конце концов, где-нибудь поблизости мог таиться микрофон. Он и Юлия говорили только шепотом, и их нельзя было услышать, но дрозда слышали. Где-то, у другого конца провода, сидел маленький жукообразный человечек и слушал... слушал это! Однако постепенно песня заставила Уинстона забыть все остальное. На него как будто изливалось сверху море звуков и солнечного света, профильтрованного сквозь листву. Он перестал думать и весь отдался чувствам. Талия девушки была мягка и тепла. Он привлек Юлию к себе, и они оказались лицом к лицу. Ее тело словно растворялось в нем. Всюду, куда ни двигалась его рука, все было податливо, как вода. Их губы слились, и этот поцелуй был совсем иным, чем тот, жадный и торопливый, которым они обменялись раньше. Когда они отодвинулись друг от друга, оба тяжело дышали. Птица испугалась и, шумя крыльями, улетела.

Уинстон наклонился к уху девушки. «Теперь, да?» – прошептал он.

– Не здесь, – ответила она тоже шепотом. – Пойдем назад в заросли. Там не так опасно.

Торопливо, хрустя ветками, они пошли обратно на поляну. Когда они опять оказались за молодой порослью ясеней, Юлия повернулась к Уинстону. Ее дыхание прерывалось, но в уголках рта снова заиграла улыбка. Она с минуту постояла, глядя на него, потом прикоснулась к застежке комбинезона и... Все произошло почти так же, как он видел во сне. Мгновенно, как он и представлял себе, она сбросила одежду и швырнула ее в сторону тем великолепным жестом, который, казалось, зачеркивал всю культуру. Ее тело сверкало белизной на солнце. Но

он не видел ее тела. Его взор был прикован к веснушчатому лицу, на котором блуждала едва заметная, но смелая улыбка. Он опустился перед нею на колени и взял за руки.

– Ты делала это раньше?

– Конечно. Сотни раз. Десятки раз, во всяком случае.

– С членами Партии?

– Да. Только с членами Партии.

– С членами Внутренней Партии?

– С этими свиньями! Никогда! Хотя многие и добивались... Они ведь вовсе не такие святые, какими прикидываются.

Его сердце ликовало. Она делала это много раз! Ему хотелось, чтобы это было сотни, тысячи раз. Все, что содержало в себе хоть какой-нибудь намек на разложение, наполняло его дикой надеждой. Кто знает? Может быть, под внешней оболочкой Партии уже завелась гнильца? Быть может, ее культ силы и самоотречения – только обманчивый покров, скрывающий внутреннюю слабость? Ах, как он был бы счастлив, если бы мог заразить их всей проказой или сифилисом – чем-нибудь таким, что портит, расслабляет, подрывает! Он потянул девушку к себе, так что они оказались на коленях друг перед другом.

– Слушай! Сколько бы ни было у тебя мужчин, я люблю тебя. И чем больше их было – тем больше люблю. Ты понимаешь это?

– Да. Отлично.

– Я ненавижу чистоту! Я ненавижу непорочность! Я готов сокрушать добродетель всюду, где она существует! Я хочу, чтобы все до мозга костей было развращено!

– Прекрасно. Значит, я подхожу тебе. Я развращена до мозга костей.

– Тебе нравится это? Я говорю не о себе... Нравится вообще?

– Я обожаю...

Этого он и добивался от нее больше всего. Не просто любовь, а страсть, могучее, слепое животное желание. Оно – та сила, которая способна разорвать Партию в клочья. Он опрокинул девушку навзничь в траву, в опавшие колокольчики. Теперь это было нетрудно. Вскоре их дыхание стало ровнее и с чувством, похожим на сладкую беспомощность, они разъединились. Солнце пекло как будто еще жарче. Обоих клонило в сон. Он потянулся за комбинезоном и немного укрыл им девушку. Почти тотчас же оба погрузились в сон и спали с полчасца.

Уинстон проснулся первый. Он сел и взгляделся в веснушчатое лицо девушки. Положив под голову ладонь, она все еще спала. В сущности, кроме рта, в ней не было ничего красивого. Внимательный взор мог подметить около глаз несколько морщинок. Короткие черные волосы поражали своей густотой и мягкостью. Он опять подумал, что все еще не знает ни ее фамилии, ни адреса.

Молодое сильное тело вызывало в нем чувство жалости и желания оберегать его. Глупая чувствительность, овладевшая им в орешнике, когда он слушал дрозда, все еще не совсем исчезла. Он слегка приподнял комбинезон и посмотрел на гладкую белую спину девушки. В прежние времена, – думал он, – мужчина, глядя на женское тело, знал, что он хочет обладать им, – и этим все кончалось. Теперь нет ни настоящей любви ни настоящей страсти. Нет никаких настоящих чувств, потому что во всем – примесь страха и ненависти. Их объятие было битвой, кульминация – победой. Это был сокрушающий удар по Партии. Это был политический акт.

III

– Мы можем приехать сюда как-нибудь опять, – сказала Юлия. – Вообще, можно без особого риска встречаться в одном и том же месте два или три раза. Но, конечно, лучше переждать месяц-другой, прежде чем снова появляться здесь.

Как только она проснулась, она повела себя совсем иначе, чем прежде. С озабоченным видом она быстро оделась, повязала кушак и деловито стала излагать маршрут обратного путешествия. Уинстону казалось естественным, что этим занимается она, а не он. Не подлежало сомнению, что она гораздо практичнее его и обладает всеобъемлющим знанием окрестностей Лондона, почерпнутым во время бесчисленных экскурсий. Дорога, которую она указала теперь, совершенно отличалась от той, по какой он пришел сюда, и вела на другой вокзал: «Никогда не возвращайся тем же путем, которым пришел», – заявила Юлия таким тоном, словно формулировала важное общее правило. Она должна была уехать первой, Уинстон – через полчаса.

Юлия назвала место, где они могут встретиться после работы четыре дня спустя: улицу с людным и шумным базаром в одном из беднейших кварталов города. Юлия будет слоняться возле прилавков, делая вид, что ищет шнурки или нитки. Если она будет уверена, что все обстоит благополучно, она высморкается, и он может подойти; в противном случае он не должен даже замечать ее. При удаче можно будет, не подвергая себя большому риску, поговорить в толпе минут десять или пятнадцать и условиться о новом свидании.

– А теперь мне надо бежать, – сказала она, как только он усвоил ее наставления. – Я должна вернуться в девятнадцать тридцать. Мне придется целых два часа раздавать листовки Антиполовой Лиги или заниматься чем-нибудь еще в том же духе. Ну, не свинство, а? Ты можешь меня почистить? Посмотри нет ли травы в волосах?.. Ты уверен? Тогда до свиданья, дорогой, до свиданья!

Она кинулась к нему в объятия, осыпала его поцелуями, потом скользнула в чашу и бесшумно исчезла. Он так и не узнал ни ее фамилии, ни адреса. Впрочем, это не имело большого значения, потому что невозможно было представить себе, что они встретятся когда-нибудь под кровлей или обменяются письмами.

Но случилось так, что и на лесной поляне им не довелось больше побывать. В мае они сумели только еще раз остаться вдвоем. Они встретились в другом уединенном месте, известном Юлии – на колокольне разрушенной церкви в почти безлюдном районе, где тридцать лет тому назад упала атомная бомба. Место было надежное, коль скоро вы добрались до него, но добираться было ужасно опасно. После этого они встречались только под открытым небом в городе – каждый раз на другой улице и каждый раз не больше, чем на полчаса. Говорить на улицах приходилось с постоянной оглядкой. Медленно идя по тротуару, запруженному народом (не слишком близко друг к другу и не обмениваясь ни единым взглядом), они вели странный, прерывистый разговор. Вспыхивая и потухая, как свет маяка, он то сменялся полным молчанием при приближении к телескрину или при появлении партийной формы, то через минуту начинался снова с середины фразы, то, – когда приходило время расставаться на условленном месте, – внезапно обрывался, чтобы на другой вечер возобновиться без всякого вступления. Юлия, казалось, привыкла к такому разговору, и у нее было свое название для него: «разговор в рассрочку». Она обладала также удивительной способностью говорить, не шевеля губами. Почти за целый месяц вечерних свиданий они только раз обменялись поцелуем. Они молча шли по переулку (Юлия никогда не разговаривала на маленьких улочках), как вдруг раздался оглушительный рев. Земля встала на дыбы, небо померкло, и в следующий миг пораженный ужасом Уинстон обнаружил, что лежит на земле. Все тело было в ссадинах и синяках. Где-то совсем рядом разорвался реактивный снаряд. Потом в нескольких сантиметрах всплыло смертельно бледное лицо Юлии. Даже губы у нее были белы, как мел. Она была мертва! Он сжал ее в объятиях и только тут почувствовал, что целует теплое, живое лицо. Какой-то белый порошок лип к губам. Лица обоих покрывал густой слой извести...

Бывали вечера, когда, явившись на свидание, они проходили друг мимо друга, не обменявшись даже знаком, потому что из-за угла внезапно появлялся патруль или над головой вертелся вертолет. Если бы даже свидания и не были сопряжены с такими опасностями, то и в этом случае не легко было урвать время для них. Уинстон работал шестьдесят часов в неделю.

Юлия – еще больше, и выходные дни, менявшиеся в зависимости от количества работы, далеко не всегда совпадали. У Юлии, во всяком случае, редко выдавался совсем свободный вечер. Она тратила уйму времени на лекции, демонстрации, на распространение литературы Антиполовой Лиги, на изготовление знамен к Неделе Ненависти, на денежные сборы, связанные со сберегательной кампанией, и на всякую другую общественную работу. Она считала, что это окупается, помогая маскировке. Соблюдая мелкие правила, – говорила она, – можно нарушать более важные. Она даже уговорила Уинстона заняться по вечерам сверхурочной работой на оборону, которую добровольно выполняли особенно рьяные партийцы. И вот, – раз в неделю, четыре часа, – Уинстон стал проводить в тускло освещенной мастерской, где гулял сквозняк, и стук молотков тоскливо мешался с музыкой телескрин. Умирая от скуки, он занимался сборкой каких-то металлических деталей, служивших, видимо, взрывателями бомб.

Брешь, оставшаяся после их отрывочных разговоров, была наконец заполнена, когда они встретились на колокольне. Был яркий полдень. Воздух под сводом квадратной колокольни был неподвижен, раскален и густо насыщен запахом голубинового помета. Несколько часов они проговорили, сидя прямо на полу, покрытом пылью и сухими веточками, и время от времени один из них вставал и подходил к стрельчатой прорези в стене, чтобы посмотреть вниз и убедиться, что там никого нет.

Юлии было двадцать шесть лет. Она жила в общежитии вместе с тридцатью другими девушками («вечно с бабами», – вскользь заметила она, – «как я ненавижу баб!») и работала, как он и догадывался, на автоматическом писателе в

Отделе Беллетристики. Ей нравилась эта работа, состоявшая в обслуживании мощного, но капризного электрического агрегата и в наблюдении за ним. По ее словам, она «звезд с неба не хватала», но руки у нее были хорошие, и она чувствовала себя возле машин, как дома. Она могла описать весь процесс создания романа от общих директив Планового Комитета до последней корректуры Секции Обработки Материалов. Но готовая продукция ее не интересовала. «Я вообще ничего не читаю», – заявила она. Книги для нее были просто предметом производства, вроде шнурков или повидла.

Она не помнила ничего, что происходило до начала шестидесятых годов, и единственным человеком, который часто рассказывал ей о дореволюционных днях, был дедушка, пропавший, когда Юлии шел девятый год. В школе она была капитаном хоккейной команды и два года подряд получала награды за гимнастику. В Организации Шпионов она руководила отрядом, а в Союзе Молодежи, – до того, как вступить в Антиполовую Лигу, – была секретарем отдела. Она отличалась безупречным поведением. Ее даже (верный знак отличной репутации!) привлекали к работе в Порносеке – одном из подразделений Отдела Беллетристики, выпускавшем дешевую порнографическую литературу, предназначенную для распространения среди пролов. «Служащие Порносека, – рассказывала она, – называют свою секцию навозником». В течение года Юлия принимала участие в издании брошюр под названием, вроде – «*Приключения Шлепуна или Ночь в Школе для Девушек*». Эти брошюры рассылались в запечатанных конвертах и потихоньку покупались молодыми пролами, думавшими, что они приобретают что-то нелегальное.

– Что же это за книжки? – поинтересовался Уинстон.

– Ах, чушь ужасная! Можно сдохнуть с тоски. Всего-навсего шесть сюжетов, которые они жуют, как мочалку. Я работала, конечно, только на калейдоскопах, в Сектор Обработки меня никогда не брали. Я ведь малограмотная, дорогой, и не гожусь даже для этого.

Уинстон с немалым изумлением услышал, что единственным мужчиной в Порносеке был начальник, а вся работа выполнялась девушками. В теории считалось, что мужчины, сексуальные инстинкты которых труднее обуздать, чем инстинкты женщин, скорее могут быть развращены той гадостью, с какой им приходилось иметь дело.

– Они не любят нанимать даже замужних, – пояснила Юлия. – Зато девушек всех считают совершенно непорочными. С тобой, во всяком случае, сидит не такая.

В первую любовную связь она вступила, когда ей было шестнадцать лет. Ее любовником был шестидесятилетний старик-партиец. Позднее он покончил с собой, чтобы избежать ареста. «И хорошо сделал, – заявила Юлия. – Иначе они вытянули бы у него мое имя на следствии». Потом были другие. Жизнь представлялась ей очень простой. Вы хотите жить в свое удовольствие, «они» – то есть, Партия, – стараются вам помешать. Ей казалось совершенно естественным, что «они» стремятся лишить вас всех радостей жизни, а вы – увернуться от них. Она ненавидела Партию и прямо это говорила, но ни о какой принципиальной критике не помышляла. Партийное учение, поскольку оно не затрагивало ее прямо, ничуть ее не интересовало. Уинстон обратил внимание на то, что Юлия никогда не прибегает к Новоречи, употребляя только те слова, которые вошли в широкий обиход. Она не слышала о Братстве и отказывалась верить в то, что оно существует. Всякое организованное выступление против Партии, обычно обреченное на неудачу, казалось ей глупостью. Умный человек умеет преступить закон и уцелеть. Уинстон задумался над тем, сколько еще таких, как Юлия, может оказаться среди молодого поколения – юношей и девушек, выросших в мире Революции, ничего другого не знающих, принимающих Партию как нечто извечное, как небеса, никогда не протестующих против ее господства, а просто старающихся ускользнуть от нее, как заяц от собаки?

Они не говорили о возможности брака. Это было настолько неосуществимо, что незачем было и говорить. Ни один из мыслимых комитетов никогда не утвердил бы такого брака, даже если бы и удалось каким-то чудом избавиться от Катерины. Нечего было и мечтать напрасно.

– Что она собою представляла, твоя жена? – спросила Юлия.

– Она была... Ты знаешь слово Новоречи благомысл? То есть, правоверный от рождения. Человек, которому даже не может прийти в голову плохая мысль?

– Нет, я не слыхала этого слова. Но я знаю таких людей. И довольно хорошо.

Он начал рассказывать историю своей семейной жизни, но, к его удивлению, Юлия, казалось, уже знала все самое важное. Она описала ему, – словно это видела или пережила сама, – как Катерина каменела от одного его прикосновения и как она умела, обнимая его, вместе с тем отталкивать от себя изо всех сил. Ему было легко говорить с Юлией об этих вещах. Кроме того, воспоминание о Катерине давно перестало ранить его сердце и стало просто неприятным.

– Знаешь, я, пожалуй, вытерпел бы и это, – сказал он, – если бы не одно обстоятельство...

И он рассказал о маленькой неприятной операции, к которой Катерина принуждала его раз в неделю и всегда в один и тот же вечер.

– Она ненавидела это сама, но ничто в мире не могло заставить ее отказаться. Она называла это... Нет, ты ни за что не угадаешь, как это называлось у нее!

– Наш долг перед Партией, – не задумываясь выпалила Юлия.

– Откуда ты знаешь?

– Я ведь тоже ходила в школу, дорогой. «Проблемы пола» – предмет, который раз в месяц читали девушкам старше шестнадцати лет. И в Союзе Молодежи тоже... Это вколачивается в людей годами. И во многих случаях цель достигается. Но, конечно, поручиться за всех нельзя. Люди такие лицемеры...

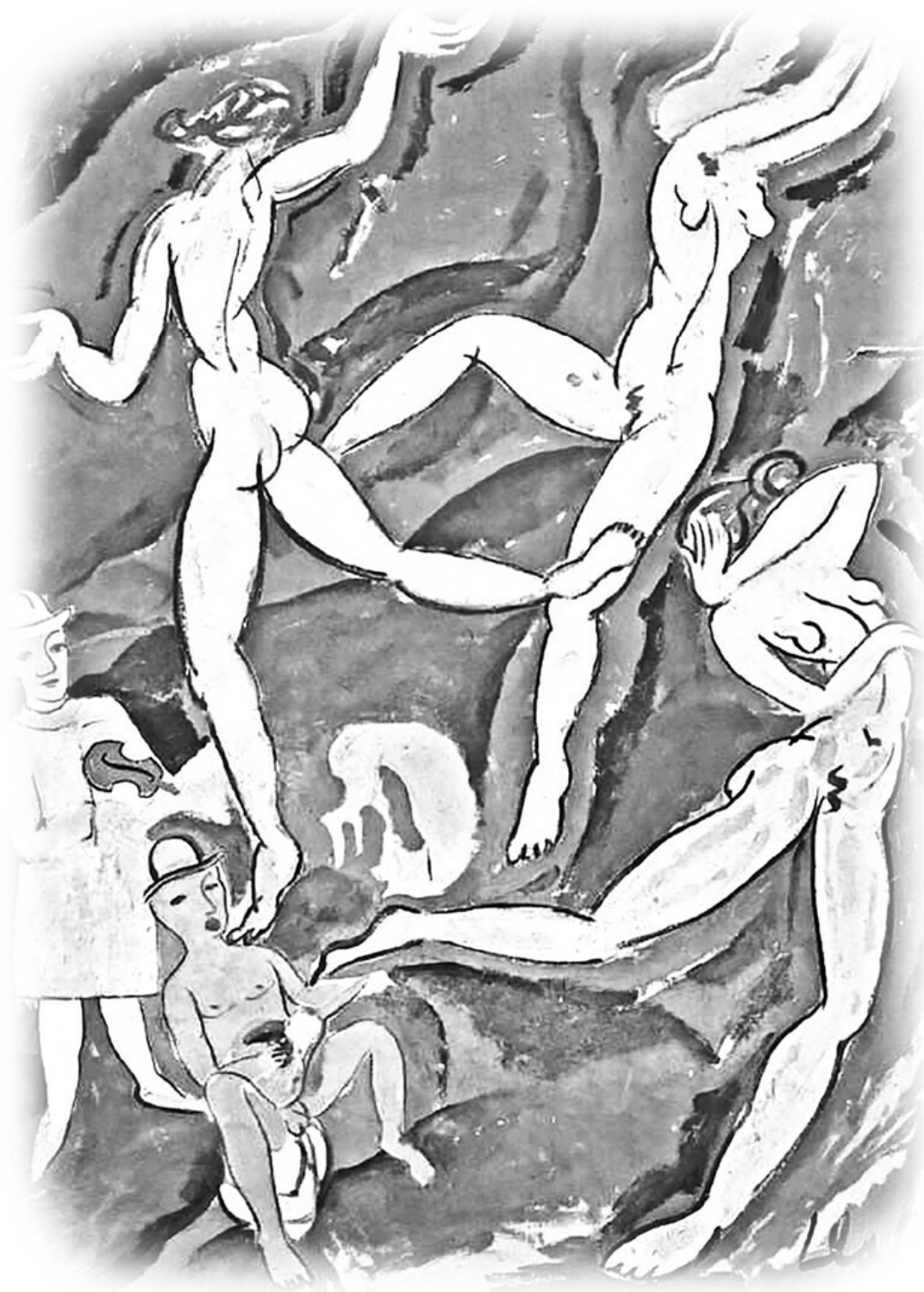
И она принялась развивать эту тему. У Юлии все как-то сводилось к ее собственной интимной жизни. И она была способна на большую проницательность, когда дело касалось этих вещей. В отличие от Уинстона, ей удалось схватить внутренний смысл полового пуританизма Партии. Дело не просто в том, что половое влечение создавало замкнутый мир, недоступный Партии и подлежащий потому уничтожению. Дело, прежде всего, заключалось в том, что половой аскетизм порождал желательную Партии истерию, которую можно было превратить в военную лихорадку и в поклонение вождям.

– Когда ты любишь и отдаешься, – рассуждала Юлия, – ты расходуешь энергию. Ты счастлив и тебе плевать на все остальное. С этим они не могут примириться. Им надо, чтобы ты вечно кипел энергией. Все эти парады, шум, размахивание флагами – просто-напросто выбрасывание за борт прокисших половых желаний. Если ты счастлив в душе, то какое тебе дело до Старшего Брата, до Трехлетки, Двух Минут Ненависти и всей их прочей дряни?

Это очень верно, – подумал Уинстон. – Между половым аскетизмом и политической ортодоксальностью существовала тесная, прямая связь. Каким иным путем, кроме сдерживания некоторых мощных инстинктов и превращения их в движущую силу, может Партия поддерживать в своих членах на должном уровне страх, ненависть и детскую доверчивость, в которых она так нуждается? Половые инстинкты опасны для нее, и она использует их в своих интересах. Тут – то же надувательство, что и с родительскими чувствами. Семью невозможно уничтожить, и поэтому родителей даже побуждают относиться к детям так же, как до Революции. Но, вместе с тем, детей неустанно натравливают на родителей, учат шпионить за ними и доносить о их уклонках.

В результате, семья стала как бы продолжением шпионской сети Полиции Мысли. При такой системе каждый днем и ночью окружен агентами, знающими его личную жизнь до последних мелочей.

Внезапно Уинстон опять вспомнил о Катерине. Конечно, она моментально донесла бы на него в Полицию Мысли, если бы глупость не мешала ей разгадать его подлинные настроения. Но сейчас дело было не в этом, и образ ее был вызван другим обстоятельством. Удушливая полуденная жара, от которой покрывался испариной лоб, заставила Уинстона опять вспомнить Катерину. Он стал рассказывать Юлии о том, что произошло или, вернее, что могло произойти однажды в такой же знойный летний полдень одиннадцать лет тому назад.



Сатирическая композиция. Танец Матисса

Это было три или четыре Месяца спустя после того, как они поженились. Они поехали с экскурсией куда-то в Кент и там заблудились. Просто отстали от других минуты на две, потом повернули не туда, куда следовало, и вскоре оказались на краю заброшенной каменоломни, где когда-то добывали известняк. Она обрывом уходила вниз на десять или двенадцать метров, и на дне ее лежали валуны. Спросить дорогу было не у кого. Как только Катерина поняла, что они заблудились, она страшно разволновалась. То, что они только на минуту оказались в сто-

роне от шумной толпы экскурсантов, заставляло ее чувствовать себя в чем-то виновной. Она настаивала на том, чтобы они немедленно вернулись назад той же дорогой и начали поиски в другом направлении. Но как раз в этот момент Уинстон прямо у своих ног увидел кусты воробейника, растущие в расщелинах обрыва. На одном кусте оказались разные цветы – малиновые и кирпично-красные – и росли они, по-видимому, от одного корня. Уинстон никогда прежде этого не видел и стал звать Катерину.

– Ты посмотри! Ты только посмотри на них! Вон тот кустик в самом низу. Ведь они разного цвета. Видишь?

Она уже собралась уходить, но все-таки, с довольно раздраженным видом, вернулась и наклонилась над обрывом, чтобы посмотреть куда он указывал. Он стоял немного позади, придерживая ее за талию. И тут он вдруг сообразил, как, в сущности, они бесконечно далеки ото всего живого в этот миг. Нигде не было ни одного человеческого существа, ни один листок не шевелился, даже птицы молчали. Возможность того, что где-то поблизости таится микрофон, в таком месте была ничтожна, но даже если он и был – он улавливал лишь звуки. Был самый знойный, самый усыпляющий час дня. Солнце полыхало над их головами, и Уинстон ощущал на лице щекотание капелек пота. И вдруг, как молния, блеснула мысль...

– Почему ты не подтолкнул ее легонько? – подсказала Юлия. – Я бы не задумалась.

– Да, дорогая, ты не задумалась бы. Я – тоже, если бы в то время был таким, каков сейчас. А может быть... Нет, я не уверен...

– Ты жалеешь, что не сделал этого?

– В общем, да.

Они сидели рядом на пыльном полу. Он обнял девушку. Ее голова легла ему на плечо, и за приятным запахом ее волос не чувствовался больше запах голубиного помета. Она еще очень молода, – думал он. – Она еще чего-то ждет от жизни. И она не понимает, что, сбросив со скалы неудобного вам человека, вы не достигнете ничего.

– В сущности, это ничего не изменило бы, – сказал он.

– Тогда почему же ты жалеешь, что не сделал этого?

– Просто потому, что положительное я предпочитаю отрицательному. В игре, которую мы с тобой затеяли, мы не можем выиграть. Одно ведет к проигрышу скорее, чем другое – только и всего.

Он почувствовал, как она протестующе повела плечом. Она протестовала всякий раз, когда он говорил что-нибудь в этом роде. Она не соглашалась признавать законом жизни то, что личность всегда терпит поражение. До некоторой степени она понимала, что обречена на гибель, и что рано или поздно Полиция Мысли схватит ее и убьет, но в то же время верила, что можно построить свой тайный мирок и жить в нем так, как хочется. Нужны только смелость, ловкость и удача. Она не понимала, что таких вещей как счастье и удача в природе не существует, что победа – дело далекого будущего, когда их обоих уже не будет в живых, и что, объявляя войну Партии, вы подписываете себе смертный приговор.

– Мы мертвецы, – сказал он.

– Нет, мы еще не мертвецы, – прозаически отозвалась Юлия.

– Не физически, нет. Еще полгода, год, ну, – может быть, даже пять лет. Я боюсь смерти. Ты молода и должна бояться еще больше. Поэтому надо оттянуть ее насколько это в наших силах. Но, в общем, разница будет небольшая. Пока человек остается человеком, – жизнь и смерть будут идти рядом.

– Ах, чепуха! С кем ты хочешь спать – со мной или со скелетом? Разве ты не радуешься жизни? Разве тебя не радует сознание своего я? Разве это не счастье, что ты можешь сказать: вот это – я, это – моя рука, моя нога. Я существую, я – плоть, я – живу. Разве тебе не нравится вот это?

Она повернулась и прижалась к нему. Даже сквозь комбинезон он чувствовал ее спелую, упругую грудь. Словно часть ее силы и молодости переливалась в него.

– Конечно, нравится.

– Тогда перестань толковать о смерти!.. А теперь слушай, дорогой. Нам нужно решить, когда мы встретимся опять. Можно было бы опять поехать в лес, – времени прошло уже достаточно. Только ты должен поехать по другой дороге. Я все уже обдумала. Ты сядешь на поезд... Нет, подожди, лучше я тебе все это нарисую.

И, со своей обычной практичностью, она сгребла пыль в небольшой квадрат и веточкой из голубинового гнезда принялась рисовать карту на полу.

IV

Уинстон обвел взглядом маленькую убогую комнатку, расположенную на втором этаже, над лавкой господина Чаррингтона. У окна стояла громадная постель с рваным одеялом и с непокрытым валиком для подушек. Старомодные часы с двенадцатичасовым циферблатом тикали на камине. В углу, на столике с откидной крышкой, тускло поблескивало из полумрака стеклянное пресс-папье, которое он купил, когда заходил последний раз в лавку старьевщика.

В камине стояли помятая жестяная керосинка, кастрюлька и две чашки, которыми их снабдил хозяин комнаты. Уинстон зажег керосинку и поставил кипятиться воду в кастрюле. Он принес с собой целый пакет кофе Победа и несколько таблеток сахарин[^]. Часы показывали семь двадцать или девятнадцать двадцать по-настоящему.

Глупость! Глупость! – неустанно твердило сердце. Сознательная, ничем не оправданная, самоубийственная глупость. Из всех преступлений, которые может совершить член Партии, именно это труднее всего утаить. Мысль о найме комнаты зародилась у него при виде стеклянного пресс-папье, отраженного поверхностью столика. Как он и предвидел, никаких препятствий со стороны господина Чаррингтона не встретилось. Он явно был рад тем нескольким долларом, которые это могло принести ему. Он не был шокирован и не позволил себе никаких нескромных намеков даже и тогда, когда узнал, что комната нужна Уинстону для встреч с возлюбленной. Напротив, он устремил взор куда-то в пространство и заговорил на общие темы с такой деликатностью, словно обратился вдруг в бесплотного духа.

– Уединение, – сказал он, – очень ценная вещь. Каждому хочется обзавестись своим уголком, где он мог бы иногда остаться наедине с тем, кто ему по душе. И если двое отыскивали такой уголок, то для всякого, кому это известно, молчание – долг простой вежливости. И уже совсем с отсутствующим видом господин Чаррингтон добавил, что в доме две наружных двери и что одна из них ведет через двор в переулок.

Под окном кто-то пел. Хоронясь за муслиновыми занавесками, Уинстон осторожно выглянул. Июньское солнце стояло еще высоко, и во дворе, залитом его лучами, он увидел устрашающего вида женщину, массивную, как нормандская колонна, с багровыми сильными руками и в фартуке, свисавшем у нее с талии, как мешок. Тяжело ступая, она ходила от лохани к веревке, протянутой по двору, и развешивала какие-то квадратные белые тряпки, в которых Уинстон узнал детские пеленки. Когда рот у нее не был занят прищепками для белья, она пела сильным контраalto:

То была лишь мечта безнадежная,
Промелькнувшая ранней весной,
Но те речи и взгляд, разбудивши мир грез,
Унесли мое сердце с собой.

Песня появилась в Лондоне всего несколько недель тому назад. Отдел Музыки выпускал множество подобных песен, рассчитанных на пролов. Текст их сочинялся без всякого участия человека, с помощью особого прибора – версификатора. Но женщина пела так хорошо, что, несмотря на глупые слова, песня звучала почти приятно. Странно: он слышал и голос женщины, и шарканье ее ботинок по плитам двора, и крик детей на улице, и отдаленный шум движения – и все-таки ему казалось, что в комнате царит тишина. Происходило это потому, что в ней не было телескрина.

– Глупость, глупость, глупость! – подумал он опять. Можно ли сомневаться в том, что их схватят в этой комнате не дальше как через несколько недель? Но, возможность получить в свое распоряжение укромный уголок под кровлей и недалеко от тех мест, где они жили, – была таким соблазном, с которым они не могли бороться. Вскоре после их свидания на колокольне дальнейшие встречи стали невозможны. Рабочий день в связи с приближением Недели Ненависти сильно увеличился. До нее оставалось еще больше месяца, но громадные сложнейшие приготовления уже заставляли всех работать сверхурочно. В конце концов Уинстону и Юлии как-то удалось выкроить один общий свободный день. Они уговорились поехать на поляну. Вечером накануне они встретились на несколько минут на улице. Как всегда, Уинстон почти не смотрел на девушку, когда толпа несла их навстречу друг другу, но даже одного быстрого взгляда было достаточно, чтобы заметить, что она выглядит хуже, чем обычно.

– Ничего не выйдет, – прошептала она, как только убедилась, что можно начать разговор. – Я завтра не могу...

– Что?

– Не могу ехать завтра днем.

– Почему?

– Ну, по обычной причине В этот раз начались почему-то раньше.

В первую минуту он очень рассердился. За месяц их знакомства его отношение к Юлии изменилось. Вначале он почти не испытывал физического влечения к ней. В их сближении был элемент сознательного усилия воли. Но после второго раза все пошло иначе. Запах ее волос, вкус ее губ, нежность ее кожи стали словно частью его существа или окружающего его мира. Она превратилась в физическую потребность, во что-то такое, чего он не только желал, но, как ему подсказывало сердце, и имел право желать. Когда она сказала, что не может ехать, он подумал, что она его обманывает. Но как раз в эту минуту толпа стиснула их, и они оказались рядом. Их руки случайно встретились. Он почувствовал, как она быстро пожала кончики его пальцев, как бы давая понять, что сейчас ей нужна любовь, а не желание. Он подумал, что когда живешь с женщиной, это специфическое разочарование неизбежно должно повторяться время от времени, и глубокая нежность к ней, которой он никогда прежде не испытывал, внезапно охватила его. Ему вдруг захотелось, чтобы они были мужем и женой, живущими в браке уже лет десять. Ему захотелось, чтобы они могли вот так же, как сейчас, – только открыто, ничего не опасаясь, – идти рука об руку по улице, болтая о пустяках и заходя то в один магазин, то в другой, чтобы купить кое-что по хозяйству. А больше всего ему хотелось в этот миг, чтобы у них было свое пристанище, свой угол, где они могли бы иногда оставаться вдвоем, не чувствуя себя обязанными предаваться любовным наслаждениям при каждой встрече. Однако мысль о найме комнаты у господина Чаррингтона пришла ему на ум не в этот миг, а позже – на следующий день. И когда он поделился этой мыслью с Юлией, она, против ожидания, сразу согласилась. Оба понимали, что это безумие. Оба понимали, что умышленно делают шаг к могиле. И сейчас, сидя в этой комнате на кровати и ожидая Юлию, он опять подумал о подвалах Министерства Любви. Как странно, что человек то вдруг вспоминает о том ужасе, на который он обречен, то совсем забывает о нем. Вот он, этот ужас, ожидающий вас в будущем в назначенный час и предшествующий смерти так же верно, как 99 предшествует 100. Его нельзя избе-

жать, но, вероятно, как-то можно оттянуть. И однако люди часто добровольно и сознательно ускоряют наступление рокового часа.

На лестнице раздались быстрые шаги. Юлия ворвалась в комнату. В руках она держала полотняную коричневую сумку/ с которой он порой видел ее в Министерстве. Уинстон поднялся навстречу девушке, чтобы обнять ее, но она поспешила освободиться, потому что все еще держала сумку.

– Подожди минутку, – сказала она. – Дай сначала показать тебе, что я принесла. Сознайся, ты уже запасся этим их паршивым Кофе Победа? Я так и знала. Можешь выбросить его, оно нам не понадобится. Смотри, сюда!

Она присела на корточки, открыла сумку и вывалила ключи и отвертки, лежавшие сверху. Под инструментами оказалось несколько аккуратно завернутых бумажных пакетов. Первый из них, который она протянула Уинстону, имел какой-то необычный и вместе с тем смутно знакомый вид. Он был доверху наполнен тяжелым, похожим на речной песок веществом, которое легко подавалось под руками.

– Это не сахар? – спросил Уинстон.

– Ну, конечно, сахар! Настоящий сахар, а не сахарин. А здесь буханка хлеба – белого хлеба, а не той гадости, которой нас кормят... Банка повидла и банка молока. А вот тут... Вот этим я действительно горжусь. Мне даже пришлось завернуть пакет в тряпочку, потому что...

Но излишне было объяснять, почему пришлось заворачивать пакет. В комнате уже распространялся густой пряный аромат. На Уинстона словно пахнуло днями раннего детства. Впрочем, и сейчас этот аромат порою можно было уловить где-нибудь возле подъезда, пока не захлопывалась дверь, а иногда он вдруг таинственно растекался по улице, запруженной толпами народа, и мгновенно снова пропал.

– Кофе! – прошептал Уинстон. – Натуральный кофе!

– Кофе членов Внутренней Партии, – подтвердила Юлия. – Целый килограмм.

– Где ты ухитрилась раздобыть все это?

– Это все продукты, предназначенные для Внутренней Партии. Свиньи! У них ни в чем нет недостатка. Но, конечно, слуги и официанты тоже не зевают... Смотри, я достала еще небольшой пакетик чая.

Уинстон сел на корточки с Юлией. Он надорвал угол пакета.

– Да, – сказал он, – это не смородинные листья. Настоящий чай.

– Почему-то сейчас появилось много чая, – заметила Юлия и туманно добавила: – Что они, прибрали к рукам Индию или что?.. Ну, ладно, дорогой. Теперь я хочу, чтобы ты отвернулся ненадолго. Поди сядь на постели с той стороны. Только не подходи слишком близко к окну. И не поворачивайся, пока я не скажу.

Уинстон рассеянно смотрел сквозь муслиновые занавески. Женщина с багровыми руками все еще ходила от лохани к веревке. Она вынула изо рта прищепки и запела с глубоким чувством:

Говорят, время все исцеляет,
Что легко все забыть навсегда,
Но тот смех и рыданья былые
В моем сердце звучат, как тогда.

Она, должно быть, помнила всю эту пошлятину от начала до конца. В свежем летнем воздухе ее голос звучал очень приятно, и в нем слышалась какая-то счастливая меланхолия. Певице как будто хотелось, чтобы июньский вечер длился без конца, а запасы, белья были неистощимы, и чтобы она могла оставаться тут тысячелетия, развешивая пеленки и напевая свою чепуху. Уинстон с некоторым удивлением и интересом отметил про себя, что он никогда

не слышал, чтобы какой-нибудь партиец пел ради собственного удовольствия и по собственному желанию. В этом, вероятно, могли бы усмотреть такой же намек на политическую неблагонадежность, как в привычке разговаривать с самим собой. Возможно, что только у людей, живущих в очень тяжелой нужде, появляется желание петь.

– Можешь повернуться теперь, – объявила Юлия.

Он повернулся и в первую Минуту почти не узнал ее. Он ждал, что увидит ее обнаженной. Но она по-прежнему была одета. Превращение, которое произошло с ней, было куда более удивительным. Юлия нарядилась.

Ей, очевидно, удалось проскользнуть в какую-то лавчонку в пролетарской части города и застать там полным косметическим набором. Губы у нее были ярко накрашены, щеки наруганы, нос напудрен; даже под глазами был положен какой-то штришок, придававший им живость и блеск. Все это было сделано не очень умело, но и сам Уинстон был не слишком искушен в таких вещах. Никогда прежде он не видел и не мог себе представить партийки с накрашенным лицом. Перемена была поразительная. Несколько прикосновений карандаша в нужных местах сделали ее не только несравненно интереснее, но, – главное, – женственнее. Короткие волосы и мальчишеский комбинезон только подчеркивало ли эффект. Обняв ее, он почувствовал запах искусственной фиалки. Вспомнился полумрак кухни в подвале и беззубый, пещерообразный рот старухи. Духи были те же самые, но сейчас они казались иными.

– Даже и духи? – удивился он.

– Да, милый, и духи. Знаешь, что я сделаю в другой раз? Я раздобуду где-нибудь настоящее женское платье и надену его вместо этого противного комбинезона. Надену шелковые чулки и туфли на высоких каблуках. В этой комнате я буду женщиной, а не партийным товарищем.

Они сбросили одежду и взобрались на громадную кровать красного дерева. Первый раз Уинстон раздевался в присутствии Юлии. До сих пор он стыдился своего худого, бледного тела с выступающими на икрах варикозными венами и с грязным пластырем над лодыжкой. На постели не было простыней, но ветхое одеяло, на котором они лежали, было потерто до того, что стало совершенно гладким. Размеры и упругость кровати изумили их обоих. «Она наверняка кишит клопами, – сказала Юлия, – но это неважно, правда?» Двухспальные кровати можно было видеть теперь только в домах пролов. Уинстону приходилось в детстве спать на такой постели, Юлии, насколько она помнила, – никогда.

Вскоре они задремали. Когда Уинстон открыл глаза, стрелки на часах приближались к девяти. Он не шевелился, потому что Юлия спала у него на руке. Большая часть краски с ее лица перешла на лицо Уинстона и на валик для подушек, но легкие пятна румян все еще оттеняли красоту ее скул. Желтые лучи заходящего солнца тянулись поперек постели в ногах, освещая камин, где на керосинке бурно кипела в кастрюле вода. Во дворе не слышно было более женского пения, но с улицы все еще доносился крик детей. Неужели в прошлом, – раздумывал Уинстон, – в уничтоженном Партией прошлом, мужчины и женщины считали естественным лежать вот так в прохладный летний вечер обнаженными в постели, – просто лежать и слушать мирный шум улицы, не думая о том, что надо вставать? Неужели они любили, когда хотели, говорили, о чем хотели? Нет, определенно, такого времени не могло существовать! Юлия проснулась, протерла глаза и, приподнявшись на локте, посмотрела на керосинку.

– Половина воды выкипела, – сказала она. – Я встану и через минуту приготовлю кофе. В нашем распоряжении еще целый час. Когда у вас в Особняках Победы гасят свет?

– В двадцать три тридцать.

– У нас в общежитии в двадцать три. Но тебе надо прийти домой пораньше... Эй, ты! Марш отсюда, погань!

Она вдруг перегнулась через край постели, схватила с пола туфлю и тем же самым мальчишеским движением, которым на глазах у Уинстона швыряла словарем в Гольдштейна на Двухминутке Ненависти, запустила ее в угол.

– Что там такое? – спросил Уинстон с удивлением.

– Крыса. Я видела, как она высовывала свой поганый нос из-за панели. Там дыра. Во всяком случае я задала ей страху.

– Крыса? – прошептал Уинстон. – В этой комнате?

– Их везде полно, – заметила Юлия равнодушно, опять ложась на свое место. – Даже у нас в общежитии на кухне – и то водятся. Некоторые кварталы Лондона прямо кишат ими. Ты разве не слышал, что они нападают на детей? Да, да! На некоторых улицах женщины боятся оставлять ребят одних даже на две минуты. Есть такая порода громадных бурых крыс – это они нападают. Но самое отвратительное то, что эти бестии...

– Замолчи! – воскликнул Уинстон, плотно сжимая веки.

– Милый! Что с тобою? Ты так побледнел. Тебе нехорошо?

Она прижалась к нему, обвила руками, как будто для того, чтобы согреть и успокоить теплом своего тела. Он открыл глаза не сразу. Несколько минут он находился во власти кошмара, терзавшего его всю жизнь. Он повторялся по ночам, почти не изменяясь. Уинстон стоял перед стеною мрака, за которой таилось что-то нестерпимое, что-то такое жуткое, что с ним невозможно было встретиться лицом к лицу. Но самым сильным впечатлением сна было чувство самообмана – он, в сущности, знал, что скрыто за стеною мрака. С невероятным напряжением, точно извлекая частицу собственного мозга, он мог извлечь на свет и это. Он просыпался всегда раньше, чем успевал узнать все до конца, но каким-то образом это было связано с тем, что говорила Юлия, когда он оборвал ее.

– Прости, – сказал он. – Все это пустяки. Я не люблю крыс, – только и всего.

– Не волнуйся, дорогой. Мы больше не увидим этой погани здесь. До того как мы уйдем, я заткну дырку мешковиной. А в следующий раз принесу гипс и штукатурю ее.

Потрясение, пережитое им, было уже наполовину забыто. Слегка сконфуженный, он сел в постели и прислонился к спинке. Юлия встала, натянула комбинезон и приготовила кофе. Из кастрюли поднимался такой сильный и волнующий аромат, что им пришлось закрыть окно, чтобы не привлечь чьего-нибудь внимания на улице. Уинстона поразила вкус кофе. Но еще более он удивился той своеобразной, шелковистой мягкости, которую придавал напитку сахар. За годы сахарина все это было забыто. Сунув одну руку в карман, а в другой держа ломоть хлеба с повидлом, Юлия расхаживала по комнате, равнодушно поглядывала на книжный шкаф, давала советы насчет того, как лучше починить раздвижной столик, бросалась в кресло, чтобы попробовать насколько оно удобно, и с благожелательным удивлением рассматривала нелепые часы с двенадцатичасовым циферблатом. Она переложила пресс-папье со стола на постель, чтобы рассмотреть его при лучшем освещении. Плененный, как всегда, мягким, напоминающим цвет дождевой воды, внутренним светом вещи, Уинстон взял ее из рук девушки.

– Что это такое, как ты думаешь? – спросила Юлия.

– Не знаю. По-моему, эта вещь вряд ли имела какое-нибудь практическое применение. Потому-то она мне и нравится. Это – осколок прошлого, который еще не успели искалечить. Это – послание эпохи, отдаленной от нас, может быть, целым столетием. Надо только уметь прочитать его.

– А вот той картине, – кивнула она на гравюру, висевшую напротив – тоже сто лет?

– Больше. Я полагаю, целых двести. Точно нельзя сказать. В наше время невозможно определить возраст вещей.

Она подошла взглянуть на гравюру.

– Вот откуда эта бестия высовывала нос, – ткнула она пальцем в стену под гравюрой. – А что это за здание? По- моему, я его где-то видела.

– Это церковь или, во всяком случае, когда-то было церковью. Ее называли Св. Климентом Датчанином. – Он вспомнил отрывок стихотворения, которому его учил господин Чаррингтон, и с оттенком грусти продекламировал: – *«Кольца-ленты, кольца-ленты», – зазвенели у Климента.*

К его удивлению Юлия подхватила куплет:

«Фартинг больше, чем полтина», – загудели у Мартина.

«Ты мне должен», – зазвенели с колокольни Старой Бейли...

– Дальше я не помню, – сказала Юлия, – но самый конец знаю: *«Свечка осветит постель, куда лечь. Сечка ссечет тебе голову с плеч».*

Это походило на две фразы пароля. Однако после Старой Бейли должна была следовать еще строка. Нельзя ли как-нибудь заставить господина Чаррингтона вспомнить и ее, если что-то подсказать?

– Кто тебя этому научил? – спросил Уинстон.

– Дедушка. Он часто напевал мне это в детстве. Его распылили, когда мне было восемь лет, – т. е. он, во всяком случае, пропал без вести... Слушай, – вдруг добавила она без всякой связи, – ты не знаешь, что такое лимон? Я виде-

ла апельсины. Это круглые желтые фрукты с толстой коркой.

– А я помню и лимоны, – сказал Уинстон. – В пятидесятых годах их было довольно много. Они были такие кислые, что от одного их вида ломило зубы.

– Ручаюсь, что за этой картиной водятся клопы, – сказала Юлия. – Я когда-нибудь сниму ее и хорошенько почищу. Мне кажется, что нам уже пора идти. Я еще должна смыть краску с лица. Какая жалость! Подожди, потом я сотру помаду и у тебя с лица.

Уинстон оставался в постели еще несколько минут. Комната постепенно погружалась в мрак. Он повернулся к свету и лежал, пристально глядя на пресс-папье. Бесконечно интересен был не коралл, а внутренняя структура вещи. В ней чувствовалась такая глубина, и вместе с тем она была прозрачна почти, как воздух. Словно поверхность стекла была небесным сводом, укрывавшим крохотный мир со своей особой атмосферой. Ему казалось, что он может проникнуть в этот мир, да он уже и был там вместе с кроватью красного дерева, с раздвижным столиком, с часами, с гравюрой на стали, и с самим пресс-папье. Пресс-папье – это комната, в которой он находится, а коралл – его жизнь и жизнь Юлии, закрепленная навеки в сердце кристалла.

V

Сайми исчез. Однажды утром он не явился на работу. Нашлись наивные люди, не сумевшие скрыть, что заметили его отсутствие. На другой день о нем уже никто больше не вспоминал. На третий день Уинстон отправился в вестибюль Отдела Документации взглянуть на доску объявлений. Там висел список членов Шахматного Комитета, в который входил Сайми. Список выглядел почти так же, как прежде: ни одно имя не было вычеркнуто, но одним было меньше. Этого было достаточно. Сайми перестал существовать. Он никогда не существовал.

Стояла необыкновенно жаркая погода. В лабиринте Министерства, в комнатах, снабженных кондиционирующими приборами, температура была нормальной, но на улицах раскаленные тротуары обжигали ноги, а в метро, в часы самого оживленного движения, можно было задохнуться от вони. Подготовка к Неделе Ненависти была в самом разгаре, и во всех Министерствах служащие работали сверхурочно. Готовились демонстрации и митинги, лекции и военные парады, фильмы, выставки восковых фигур и программы передач по телескрину. Строились трибуны, делались чучела врагов, писались лозунги и песни, распространялись

слухи, фальсифицировались фотографии. В отделе Беллетристики бригада Юлии прекратила выпуск романов и лихорадочно печатала брошюры с описанием зверств врага. Уинстон, помимо обычной работы, каждый день просиживал подолгу над старыми номерами Таймса, изменяя и приукрашивая те газетные сообщения, которые должны были цитироваться в речах ораторов. По ночам, когда шумные толпы пролов бродили по улицам, в городе царила странная лихорадочная атмосфера. Реактивные снаряды падали чаще, чем обычно, и откуда-то изда- лека доносились раскаты чудовищных взрывов, которых никто не мог толком объяснить. Они порождали самые невероятные слухи.

Телескрин без конца передавал недавно появившуюся песню, посвященную Неделе Ненависти. Она так и называлась – «Песня Ненависти». Дикий, лающий ритм делал ее похожей скорее на грохот барабана, чем на песню. Волосы становились дыбом, когда сотни глоток выкрикивали ее под аккомпанимент тяжелой поступи марширующих колонн. Она пришлась по вкусу пролам и по ночам соперничала на улицах с «То была лишь мечта безнадежная», кото- рая все еще оставалась популярной. Дети Парсонса день и ночь неистово наигрывали новую песню на гребенке, обернутой в туалетную бумагу. По вечерам Уинстон был занят больше, чем когда-либо. Бригады добровольцев, организованные Парсонсом, готовили свою улицу к Неделе Ненависти – расшивали флаги, раскрашивали плакаты, устанавливали на крышах флагштоки. Не без риска для жизни члены бригады протягивали над улицей тросы для полотнищ. Парсонс хвастался тем, что на одних только особняках Победы будет красоваться четыреста метров флагов. Он был в родной стихии и счастлив, как жаворонок. Ссылаясь на жару и на физиче- скую работу, он опять стал обряжаться по вечерам в трусики и в рубашку с открытым воротом. Он попевал везде: что-то толкал, тащил, пилил, приколачивал, что-то импровизировал: дру- жескими шутками и балагурством он подбадривал и подгонял людей, и из каждой поры его тела шел резкий запах пота, запасы которого казались неистощимыми.

Внезапно по всему Лондону был расклеен новый плакат. Никакой надписи на нем не было, – он просто изображал идущего вперед звероподобного евразийского солдата, ростом в три или четыре метра, с бесстрастным монгольским лицом, в громадных сапорах и с прижа- тым к бедру автоматом. Под каким бы углом вы ни смотрели на него, непомерно увеличенное передним планом дуло автомата было устремлено прямо на вас. Плакат был наклеен на каж- дой стене, всюду, где еще имелось свободное место, и в таком количестве, что оно даже превы- шало количество портретов Старшего Брата. Пролов, обычно равнодушных к войне, всячески подхлестывали, чтобы разбудить очередной приступ их бешеного патриотизма. Словно для того, чтобы подогреть общее настроение, реактивные снаряды уносили все большее и боль- шее число жертв. Один из них разорвался в переполненном людьми кинотеатре на Степни, похоронив под обломками несколько сот человек. Все население окрестных районов вышло на похороны. Длинная похоронная процессия, двигавшаяся часами, вылилась в настоящую демонстрацию. Вслед за тем другой снаряд упал на пустыре, служившем детской площадкой, разорвав на куски несколько десятков детей. И снова состоялись гневные демонстрации протес- та. Толпа жгла чучела Гольдштейна, а заодно сорвала и бросила в огонь сотни плакатов с изоб- ражением евразийского солдата. В суматохе пролы разграбили несколько магазинов. Потом поползли слухи, что снаряды направляются шпионами по радио, и двое стариков-супругов, будто бы иностранного происхождения, сами подожгли свой дом и задохнулись в дыму.



Распльвчатый старик

Когда Уинстону и Юлии удавалось добраться до комнаты в доме господина Чаррингтона, они, спасаясь от жары, снимали с себя все и голые ложились на непокрытую постель у распахнутого настежь окна. Крыса больше не появлялась, но клопы за время жаркой погоды расплодились невероятно. Однако, Уинстона и Юлию это не беспокоило. Грязная ли, чистая ли, комната была раем. Приходя в нее, они обсыпали все вокруг себя перцем, купленным на черном рынке, сбрасывали одежду, потные отдавались ласкам и засыпали, а, проснувшись, обнаруживали, что клопы очухались от поражения и готовят массовую контратаку.

Уже шестой, а, может быть, даже седьмой раз они встречались в июне. Уинстон отучился пить джин в любое время дня и, по-видимому, не испытывал потребности в этом. Он пополнел, его варикозная язва стала подживать, оставив только темное пятно на коже повыше лодыжки; приступы кашля по утрам прекратились, и его уже не подмывало, как прежде, скорчить гримасу телескрину или прокричать во все горло проклятие. Теперь, когда у них было свое надежное убежище, почти дом, не тяготило и то, что они могут встречаться там лишь время от времени и каждый раз только на два-три часа. Важно было то, что комната над лавчонкой господина Чаррингтона существует. Сознать, что она есть и держится нерушимо, точно крепость, – было почти то же самое, что находиться в ней. Комната была их миром – заповедным миром прошлого, где свободно разгуливали допотопные существа. Господин Чаррингтон был в глазах Уинстона одним из таких существ. Направляясь к себе наверх, Уинстон обычно ненадолго останавливался побеседовать с хозяином. Старик почти не показывался на улицу, возможно даже и совсем не выходил из дому, а, с другой стороны, и покупатели заглядывали к нему чрезвычайно редко. Он жил жизнью призрака, проводя время то в темной и тесной лавчонке, то в еще более крохотной кухоньке, где он сам готовил себе пищу и где, среди других вещей, стоял неправдоподобно старый граммофон с громадной трубой. Он был рад каждой возможности поговорить. Этот длинноносый человек в очках с толстыми стеклами и в вельветовой куртке на согнутых плечах, блуждавший по нишей лавчонке, напоминал Уинстону скорее коллекционера, чем торговца. С каким-то тихим энтузиазмом он касался то одной безделицы, то другой, – фарфоровой пробки для бутылок, поломанной табакерки с раскрашенной крышкой, латунного медальона с прядью волос давно умершего ребенка, – никогда ничего не навязывая, а просто предлагая Уинстону полюбоваться ими. Разговаривать с ним – было то же самое, что слушать звон старинного музыкального ящика. Из каких-то закоулков своей памяти он извлек еще несколько отрывков забытых стихов. В одном из них рассказывалось о двадцати четырех черных дроздах, в другом – о корове со сломанным рогом, а еще в одном – о смерти бедного Кок Робина. «Я просто подумал, что, быть может, вам это покажется интересным», – говорил он с коротким, как бы извиняющимся смешком, читая стихи. Но ему никогда не удавалось вспомнить больше двух-трех строчек из одного и того же стихотворения.

– И Уинстон и Юлия знали – и это почти никогда не выходило из головы, – что такое положение не может долго продолжаться. По временам близость смерти была так же осязаема, как постель, на которой они лежали, и они кидались друг другу в объятия со страстью отчаяния, как душа грешника устремляется к последнему наслаждению, когда стрелки часов показывают пять минут до положенного срока. Но иногда они не только убаюкивали себя иллюзией безопасности, но верили даже тому, что застрахованы навек. Во всяком случае, они знали, что пока находятся в своей комнате, наверху, ничего плохого с ними не произойдет. Пробирались в комнату было и трудно, и опасно, но сама она была чем-то вроде заповедника. То же самое чувствовал Уинстон, когда, глядя на пресс-папье, думал, что можно проникнуть в его внутренний мир, и что там, в этом стеклянном мире, время остановится. Нередко они утешали себя мечтами о том, что в конце концов найдут выход из положения. Возможно, что счастье не изменит им, и связь будет тайно продолжаться тем же путем, как сейчас, до их естественной

смерти. А, быть может, Катерина умрет, и они, с помощью разных тонких уловок, добьются разрешения на брак. Или вместе покончат с собою. Или, наконец, вместе бегут, потеряются из вида, научатся говорить по-пролетарски, поступят на фабрику и доживут до конца, дней где-нибудь на окраине. Оба понимали, что все это чепуха и что в действительности выхода нет. А для осуществления единственно реального плана – самоубийства – им недоставало мужества. Как легкие не могут не дышать, пока есть воздух, так какой-то непобедимый инстинкт заставляет человека цепляться за каждый день и каждую неделю жизни, повседневно участвуя в созидании настоящего, у которого нет будущего.

Иногда они говорили также о своем участии в активной борьбе против Партии, не имея никакого представления о том, с чего надо начинать. Даже если мифическое Братство существует, – как найти дорогу к нему? Уинстон рассказал Юлии о странной тайной близости, которая – не то на самом деле, не то лишь в его воображении – существует между ним и О'Брайеном. Он рассказал, как его подмывает иногда подойти к О'Брайену, прямо объявить, что он – враг Партии и попросить помощи. Любопытно, что Юлия не видела в этом ничего невозможного. Привыкнув судить о людях по их внешнему виду, она считала естественным, что Уинстон мог поверить в О'Брайена с одного мимолетного взгляда. Больше того: она считала непреложной истиной, что все или почти все в душе ненавидят Партию и готовы нарушить любое ее постановление, если это не грозит опасностью. Но она не верила, что существует или может существовать организованная и широко разветвленная оппозиция.

– Все рассказы о Гольдштейне и его подпольной армии, – говорила она, – чепуха, придуманная Партией в собственных интересах, хотя людям и приходится притворяться, будто они верят этой чепухе. Бесконечное множество раз на партийных митингах и на «добровольных» демонстрациях она надрывалась от крика, требуя смерти людей, имена которых ничего не говорили ей и в предполагаемые преступления которых она ничуть не верила. В дни показательных процессов она с отрядами Союза Молодежи с утра до ночи дежурила у здания суда, выкрикивая время от времени – «Смерть предателям!». На Двухминутке Ненависти она превосходила всех в брани по адресу Гольдштейна. И при всем этом она имела самое смутное понятие о том, кто такой Гольдштейн и какое течение в Партии он представляет. Она выросла после Революции и была слишком молода, чтобы помнить идеологические битвы пятидесятых и шестидесятых годов. Такой вещи, как независимое политическое движение, она не могла себе представить, и Партия казалась ей неуязвимой. Она всегда будет существовать и всегда останется такой, как есть. С нею можно бороться только тайным неповиновением или, самое большее, с помощью отдельных актов саботажа и террора.

Однако, в некоторых отношениях, Юлия оказалась более проницательной и менее восприимчивой к партийной пропаганде, чем Уинстон. Однажды, когда они заговорили о войне, Юлия немало удивила его, вскользь заметив, что, по ее мнению, никакой войны вообще нет. Реактивные снаряды, ежедневно падающие на Лондон, по всей вероятности, пускаются правительством самой Океании, просто для того, «чтобы держать народ в страхе». Эта мысль буквально никогда не приходила ему в голову. В другой раз он почувствовал даже что-то похожее на зависть к Юлии, услышав от нее, что на Двухминутке Ненависти ей приходится употреблять невероятные усилия, чтобы не расхохотаться. И, тем не менее, она переставала верить в учение Партии только тогда, когда оно затрагивало ее непосредственно. Нередко она принимала официальное мифотворчество просто потому, что и ложь и правда казались ей одинаково несущественными. Заучив, например, в школе, что Партия изобрела самолеты, она продолжала верить этому и до сих пор. (Уинстон вспоминал, что в конце пятидесятых годов, когда он сам учился в школе, Партия претендовала только на изобретение вертолетов; лет десять-двенадцать спустя, в школьные годы Юлии, претензии Партии распространились и на самолеты; еще одно поколение – и честь изобретения парового двигателя также будет приписана Партии). Но когда он рассказал, что самолеты существовали еще до его появления на свет и

задолго до Революции, Юлия отнеслась к этому совершенно равнодушно. А не все ли, в конце концов, равно, кто их изобрел? Он был еще более смущен, когда по отдельным ее замечаниям догадался, что она, не помнит, что четыре года тому назад Океания воевала с Истазией и была в мире с Евразией. Правда, с кем бы Океания ни воевала, война казалась Юлии простым спектаклем, но все-таки, как можно бы-ло не заметить, что имя врага изменилось? «А я думала, мы всегда воевали с Евразией», – заметила Юлия неуверенно. Это даже слегка напугало его. Самолеты были изобретены задолго до ее рождения, но смена противников в войне произошла всего четыре года тому назад, когда она, во всяком случае, была уже достаточно взрослой. Они проспорили минут пятнадцать, прежде чем ему удалось заставить ее напрячь память и смутно припомнить, что действительно в свое время Истазия, а не Евразия была врагом Океании. Но она так и не поняла, какое это имеет значение. «Какая разница? – нетерпеливо заметила она. – Все равно этим проклятым войнам нет конца, и нет конца брехне».

Иногда он рассказывал ей об Отделе Документации и о том, какими бессовестными подлогами он там занимается. Но и это, видимо, ее не утешало, как не утешали бездны, разверзавшиеся под ногами, оттого что ложь становится правдой. Он познакомил ее с историей Джонса, Ааронсона и Рутефорда и рассказал о том, как ему однажды попал в руки знаменательный газетный отрывок. Это тоже не произвело большого впечатления на нее. Вначале она даже не поняла сущности дела.

– Это были твои друзья? – спросила она.

– Нет. Я даже не знал их. Они были членами Внутренней Партии и гораздо старше меня. Они принадлежали к старшему, дореволюционному поколению. Я видел их всего один раз в жизни, да и то мельком.

– Так из-за чего же было волноваться? Людей, ведь убивали и будут убивать всегда. Разве это не так?

Он постарался объяснить, в чем дело:

– Нет, это был особый случай. Тут дело не в том, что кого-то убили. Ты пойми, что прошлое, – все прошлое, начиная со вчерашнего дня, – уничтожено. Единственно, в чем оно еще сохраняется – это в немногих материальных памятниках, не снабженных никакими надписями, наподобие вот этого куска стекла. Даже мы с тобою уже почти ничего не знаем ни о Революции, ни о предшествовавших ей годах. Каждый документ подделан или уничтожен, каждая книга переписана, каждая картина нарисована наново, каждая статуя, улица и здание переименованы, каждая дата изменена. И процесс этот идет изо дня в день, минута за минутой. История остановилась. Ничего не существует, кроме бесконечного настоящего. А в настоящем Партия всегда права. Я, например, хорошо знаю, что прошлое фальсифицировано, но даже в тех случаях, когда эта фальсификация – дело моих рук, я ничего не в силах доказать. Как только подделка совершилась, – все улики исчезают. Единственный свидетель – моя память, но я вовсе не уверен, что другие помнят факты, известные мне. Только в тот единственный момент моей жизни я обладал конкретным доказательством подлога спустя много лет после того, как он был совершен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.